
ВЗГЛЯД НА ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ ДРЕВНЕЙ РОССИИ

В наше время русская история становится предметом общего любопытства и деятельного изучения. Прежде она была доступна одним избранным, на которых потому и смотрели с каким-то удивлением, переходящим в благоговение. Теперь все образованные люди интересуются русской историей; не только у нас, даже в Европе, многие ею занимаются. Объяснять причины этого нового, весьма недавнего явления мы считаем излишним. Россия Петра Великого, Россия Екатерины II, Россия XIX века объясняют его достаточно. Прибавим, что все некогда обширные и сильные государства, основанные славянами, пали. Одна Россия, государство тоже славянское, создалась так крепко и прочно, что вынесла все внешние и внутренние бури, и из каждой выходила как будто с новыми силами. Ее судьба — совсем особенная, исключительная в славянском мире, отчасти истребленном, отчасти порабощенном и угнетенном в прочих его отраслях. Это делает ее явление совершенно новым, небывалым в истории. Один поверхностный взгляд на быт древней России, еще не заслоненный от неопытного взгляда европейскими формами, совершенно убеждает в этой мысли.

Удивительное дело! На одном материке, разделенные несколькими народами, Европа и Россия прожили много веков, чуждаясь друг друга, как будто с умыслом избегая всякого близкого соприкосновения¹. Европа об нас ничего не знала и знать не хотела; мы ничего не хотели знать об Европе. Были встречи, но редкие, какие-то официальные, недоверчивые, слишком натянутые, чтоб произвести действительное сближение. Еще и теперь, когда многое переменилось, Европа больше знает какие-нибудь Караибские острова, чем Россию. Есть что-то странное, загадочное в этом факте.

Подстрочно приводятся примечания автора, сноска на которые дается звездочкой. Цифровые сноски отсылают к примечаниям в конце книги. (Ред.)

В истории — ни одной черты сходной и много противоположных. В Европе дружинное начало создает феодальные государства; у нас дружинное начало создает удельное государство. Отношение между феодальной и удельной системой — как товарищества к семье. В Европе сословия — у нас нет сословий; в Европе аристократия — у нас нет аристократии; там особенное устройство городов и среднее сословие — у нас одинаковое устройство городов и сел и нет среднего, как нет и других сословий; в Европе рыцарство — у нас нет рыцарства; там церковь, облеченная светскою властью в борьбе с государством, — здесь церковь, не имеющая никакой светской власти и в мирском отношении зависимая от государства; там множество монашеских орденов, — у нас один монашеский орден и тот основан не в России²; в Европе отрицание католицизма, протестантизм, — в России не было протестантизма; у нас местничество¹ — Европа ничего не знает о местничестве; там сначала нет общинного быта, потом он создается, — здесь сначала общинный быт, потом он падает; там женщины мало-помалу выходят из-под строгой власти мужчин — здесь женщины, сначала почти равные мужчинам, потом ведут жизнь восточных женщин; в России, в исходе XVI в., сельские жители прикрепляются к земле — в Европе, после основания государств, не было такого явления.

Как понятно удивление первого, который заметил это глубокое, совершенное различие! Точно он мог забыть из-за него человеческое единство всех племен и народов! Подвиг Петра мог представиться ему нарушением неотъемлемых прав народа на самобытность. Нам теперь это и странно и смешно; но не станем укорять первого за ложный взгляд; соблазн был слишком велик.

С XVIII века наше отчуждение, холодность к Европе вдруг совершенно исчезают и заменяются тесной связью, глубокой симпатией. Так же ревностно принялись мы отказываться от своего и принимать чужое, европейское, как прежде отказывались от чужого и держались своего. Наши старинные обычаев, природного языка, самого имени мы стали стыдиться. Близорукие видели в этом отступничестве какое-то непростительное легкомыслие, невыполнимое желание переменить свою национальность на чужую. Дальше они ничего не видали. Староверы пятнали его преступлением. В самом деле, то было странное время! То был какой-то безумный фантастический маскарад. Каждый жадно выбирал роль, надевал костюм и про-

стодушно верил, что переродился, принимая обман за действительность. Кто не переоделся, на того смотрели с презрением. Никогда самообольщение не доводило до такой слепоты.

Теперь это время прошло. Мы можем судить его беспристрастно. Оно было вызвано горячим, искренним, но бессознательным стремлением выйти из положения, в котором стало как-то тесно и неловко. Но когда мы стали выходить из этого положения, которого не понимали, в другое, которого тоже не понимали, руководствуясь одним темным чувством, оказалось, что мы чуть-чуть не дети. Мы обнаружили много сил, ума, благородства, много очень хорошего, но в таких юношеских формах, как будто мы только что начинали жить.

Что же делали до XVIII века?

Новейшие исследователи доказывают, что славяне в Европе — исконные жители, переселившиеся сюда по крайней мере не позже германского племени, и нельзя сказать когда — так давно. Но оставим их. Возьмем почти несомненно достоверную историю России с прибытия к нам иноземной дружины с севера в половине IX века. Что делали мы с половины IX до XVIII века — целые восемь с половиной веков? Вовсе не жили? Это неправда. Факты противоречат этому. Наша история представляет постепенное изменение форм, а не повторение их; след <о-вательно>, в ней было развитие, не так, как на востоке, где с самого начала до сих пор все повторяется почти одно и то же, а если по временам и появлялось что-нибудь новое, то замирало или развивалось на европейский почин. В этом смысле мы народ европейский, способный к совершенствованию, к развитию, который не любит повторяться и бесчисленное число веков стоять на одной точке. В чем же состояло наше развитие до XVIII века? Какой смысл его? Какое его движущее начало? Вот тайна, до сих пор еще никем не разгаданная! Множество «взглядов на русскую историю» брошено, множество «теорий русской истории» построено, а разрешение этих вопросов все-таки не подвинулось ни на шаг вперед. На древнюю русскую историю смотрели с точки зрения истории всех возможных восточных и западных, северных и южных народов, и никто ее не понял, потому что она в самом деле не похожа ни на какую другую историю. Наконец к теориям и взглядам все охладели и потеряли доверие. В них видели повторение прежних, неудачных попыток. Некоторые записные ученые пошли дальше. Они объяви-

ли, что теория русской истории, другими словами — русская история как наука — невозможна, даже ненужна, даже вредна; что должно изучать и изучать одни факты. Исторически они были правы. Они сказали это, когда являлись теории и взгляды, одни других несообразнее, страннее, а фактов почти никто не знал. Но ошибка их состояла в том, что когда это время прошло, они все продолжали твердить одно и то же.

Большая ошибка! Во-первых, однажды возникший вопрос рано или поздно непременно должен быть разрешен; это его неотъемлемое право. Отложить его разрешение на время можно, иногда должно; не признавать его, отвергать — значит стоять ниже вопроса. Во-вторых, в противоположении фактов теории, взгляду скрывается важное заблуждение. Взгляд, теория непременно предполагают фактическое знание предмета. Без последнего невозможны первые. Как строить теорию о предмете, которого мы вовсе не знаем? Но и наоборот, фактическое изучение невозможно без взгляда, без теории. Одно необходимо переходит в другое. Сухое знание всех фактов недостижимо, по их бесконечному множеству; сверх того, оно совершенно бесполезно, ибо не дает ровно ничего, в сущности, ни на йоту не прибавляет к нашему знанию. Взгляд, теория определяют важность фактов, придают им жизнь и смысл, мешают запутаться в их бесконечном лабиринте; словом, только с их помощью можно воссоздать историю, как она была.

В доказательство ссылаемся на последнее время нашей историко-литературной деятельности. Те, которые всего больше восставали против взглядов и теорий, уступили непреложному закону мышления и бессознательно строили теории русской истории — правда, не очень удачные — но строили". (Может быть и сознательно; мы, однако, не хотим подозревать их в недобросовестном стремлении ввести монополию в науку русской истории). Во множестве издавались источники, что везде и всегда имеет свою безотносительную важность и пользу, но не обогащает историческую литературу, составляя в то же время одно из ее существенных, необходимых условий. Собственно ученое обрабатывание русской истории представляет самую жалкую картину. За исключением весьма немногих статей и исследований, которые можно пересчитать по пальцам — так их немного, — все прочее служит блистательным доказательством, как неблагоприятно действует на науку отсутствие всякого направления, всякой об-

щей мысли. Писано, если хотите, довольно, даже гораздо больше, нежели сколько нужно, чтобы не привести ни к каким результатам. Но все исследования поражают какою-то бесцветностью, бесхарактерностью, случайностью выбора. Вопросы существенные, важные, оставлены в стороне; мелочи поглотили все внимание разыскателей. Между отдельными исследованиями никакого единства, так что из всех их вместе ничего не следует, тогда как они должны бы дополнять и пояснять друг друга. Отсюда — никакого доверия к сочинениям по русской истории. Для всех, кто ею занимается, сделалось общим местом не читать их, а изучать одни источники. Хуже нельзя отозваться об исторической литературе. В других охладел всякий интерес к предмету, чего он сам по себе без сомнения, не заслуживает.

Итак, чтобы понять тайный смысл нашей истории, чтоб оживить нашу историческую литературу, необходимы взгляд, теория. Они должны представить русскую историю как развивающийся организм, живое целое, проникнутое одним духом, одними началами. Явления ее должны быть поняты как различные выражения этих начал, необходимо связанные между собою, необходимо вытекающие одно из другого.

I

Где ключ к правильному взгляду на русскую историю?

Ответ простой. Не в невозможном отвлеченном мышлении, не в почти бесплодном сравнении с историей других народов, а в нас самих, в нашем внутреннем быте.

Многие не без основания думают, что образ жизни, привычки, понятия крестьян сохранили очень много от древней Руси. Их общественный быт несколько не похож на общественный быт образованных классов. Посмотрите же, как крестьяне понимают свои отношения между собою и к другим. Помещика и всякого начальника они называют *отцом*, себя — его *детьми*. В деревне старшие летами зовут младших — *робятами*, *молодцами*, младшие старших — *дядями*, *дедами*, *тетками*, *бабками*, равные — *братьями*, *сестрами*. Словом, все отношения между неродственниками сознаются под формами *родства* или под формами прямо из него вытекающего и необходимо с ним связанного, кровного, возрастом и летами определенного, *старшинства* или *меньшинства*. Бесспорно, в устах народа

эта терминология с каждым годом или исчезает, или становится более и более бессмысленным звуком. Но заметим, что она не введена насильственно, а сложилась сама собою, в незапамятные времена. Ее источник — прежний взгляд русского человека на свои отношения к другим. Отсюда мы в полном праве заключить, что когда-то эти термины наверное не были только фразами, но заключали в себе полный, определенный, живой смысл, что когда-то все и неродственные отношения действительно определялись у нас по типу родственных, по началам кровного старшинства или меньшинства. А это неизбежно приводит нас к другому заключению, что в древнейшие времена русские славяне имели *исключительно* родственный, на одних кровных началах и отношениях основанный быт; что в эти времена о других отношениях они не имели никакого понятия, и потому, когда они появились, подвели и их под те же родственные, кровные отношения.

Выражаясь как можно проще, мы скажем, что у русских славян был, следовательно, первоначально один чисто семейственный, родственный быт, без всякой примеси; что русско-славянское племя образовалось в древнейшие времена *исключительно* одним путем *нарождения*. Это совершенно согласно и с первыми историческими известиями.

Есть большое вероятие, что точно такой же исключительно семейственный, родственный быт имели первоначально и все прочие славяне; но историческая судьба их и наша была неодинакова. Последние в разные времена смешались с другими народами или подпали под их власть. Оттого их исключительно родственный, семейственный быт должен был насильственно прерваться, может быть, слишком рано для их дальнейшего исторического действия и даже для самого их существования.

Другие обстоятельства сопровождали наше развитие. Никогда иноплеменные завоеватели не селились между нами и потому не могли придать нашей истории свой национальный характер. Много народов прошло через Русь. Торговый путь и восточные монеты, находимые в России, указывают на беспрестанные сношения с иностранцами. Были и завоевания: авары, хозары, какие-то северные выходцы, кажется, норманны, и татары попеременно покоряли русских славян, опустошали их земли и собирали тяжкую дань. Но все эти приятные и неприятные

столкновения с иноплеменниками не имели и не могли иметь, в самой малой степени, тех последствий для нашей последующей истории, какие имело в других землях поселение завоевателей у туземцев и смешение их между собою. Кто знает, как необразованный славянин неохотно поддается чуждому влиянию, как он везде и всегда остается при своих нравах и обычаях, даже одиноко и надолго заброшенный между иностранцами, — тот поймет, что торговые сношения русских славян с иностранцами, как бы они часты и продолжительны ни были, не могли несколько изменить внутреннего, домашнего и общественного быта первых. Несколько слов и названий предметов, им неизвестных, — вот все, что могли им передать чужеземцы. Тем менее могли изменить их быт толпы варваров, мгновенно появившиеся и мгновенно исчезающие. Авары никогда не смешивались с русскими славянами и обращались с ними слишком жестоко, чтоб последние когда-либо могли забыть свое различие с ними. Потом авары исчезли до единого. Хозары брали одну дань; тем и ограничилось их владычество. Татары господствовали над нами издалека. Им нужны были подушная и покорность. Влияние их на наш внутренний быт ограничилось посылкою в Россию сборщиков податей — и то только сначала — вмешательством в распри удельных князей и несколькими, еще весьма сомнительными, неудачными попытками обратить нас к исламу". Впрочем, роль фанатических пропагандистов так мало шла к монголам, равнодушным покровителям всех возможных религий, что они ее скоро оставили, если когда-нибудь и принимали на себя. Не только они не поселились у нас на правах завоевателей: они даже не ставили у нас своих ханов, а сажали русских же князей, которые никогда искренно не держали их стороны, кланялись им, пока было нужно и выгодно, и воспользовались их покровительством, чтоб усилиться и свергнуть их же иго. И монгольское влияние ограничилось несколькими словами, вошедшими в наш словарь; может быть, и даже вероятно, несколькими обычаями, не совсем для нас лестными, каковы: *пытка, кнут, правож*¹⁰; но эти обычаи, без всякого сомнения, *заимствованы, а не навязаны*, и заимствованы больше вследствие тогдашнего быта Руси, чем вследствие сношений с татарами. И без них они бы, конечно, образовались, только под другими формами и названиями. Одни северные выходцы, варяги, составляют как будто исключение. Сначала

они покоряют северно-русских славян и ограничиваются, подобно другим, данью. Но потом, призванные несколькими союзными русско-славянскими и финскими племенами, они дружиной поселяются между ними, из призванных властителей становятся завоевателями, покоряют все племена, им еще не подвластные, ставят в их городах своих правителей и основывают обширное, как кажется, феодальное государство. Но... замечательное явление! Тогда как в других землях они надолго придают свой характер быту страны, ими покоренной, у нас, напротив, они скоро подчиняются влиянию туземного элемента и наконец совершенно в нем исчезают, завещав нам надолго мысль о государственном единстве всей русской земли, дружинное начало и систему областного правления. Впрочем, и эти следы северной дружины так переродились на русской почве, так прониклись национальным элементом, что в них почти невозможно узнать их неславянского первообраза. Не станем здесь исследовать, как и почему это сделалось. Для нас самый факт важен, а он несомненен. А между тем, варяги — единственные, принесшие к нам какие-то чуждые элементы. Считаем излишним упоминать о других племенах, как напр <имер>, финских, которые или исчезли, или вполне подчинились господству или влиянию русско-славянского элемента¹¹.

Итак, посторонние начала никогда не были насильственно вносимы в жизнь русских славян. Единственные, которым можно бы приписать это, — варяги — утонули и распустились в славянском элементе. Посторонние влияния были — это несомненно. Но они не были вынужденные, извне налагаемые, а естественные, свободно принимаемые. Вряд ли они были сильны; во всяком случае, они не могли нам дать ненационального, искусственного развития. Таким образом история вполне предоставила нас одним нашим собственным силам. Это еще более справедливо, если мы вспомним, что мы не сидели на плечах у другого народа, который, будучи просвещеннее нас, мог бы сообщить нам, даже против нашей воли, плоды своей высшей цивилизации¹². На своей почве мы не имели предшественников, а если и имели, то таких, от которых нам нечего было заимствовать.

Итак, мы жили сами собой, развивались из самих себя. Отсюда следующее необходимое заключение: если наш быт, исключительно семейственный, родственник, изменялся без решительного постороннего влияния, след <о-

вательно >, свободно, сам собой, то и смысла этих изменений должно искать в началах того же семейственного быта, а не в чем-либо другом; другими словами: наша древняя, внутренняя история была постепенным развитием исключительно кровного, родственного быта.

Но по какому закону он развивался? На это отвечает нам новая история с появления христианства. Христианство открыло в человеке и глубоко развило в нем внутренний, невидимый, духовный мир. Древнее человечество, подавленное природой, или художественно, но бессознательно с нею уравновешенное, как бы примиренное, или погруженное в одну практическую, государственную деятельность, имело о нем какое-то темное предчувствие, но не знало его. Христианство нашло его и поставило бесконечно высоко над внешним, материальным миром. Последний обречен был ему на служение. Оттого с появления христианства внутренний мир стремится к неограниченному господству над событиями и действиями. Духовные силы человека, его стремления, надежды, требования, упования, которые прежде были глубоко затаены и не могли высказываться, христианством были сильно возбуждены и стали порываться к полному, безусловному осуществлению. Характер истории должен был совершенно измениться.

Когда внутренний духовный мир получил такое господство над внешним материальным миром, тогда и человеческая *личность* должна была получить великое, святое значение, которого прежде не имела. В древности о человеке, помимо определений каст, сословий, национальностей и гражданства, не имели никакого понятия. Даже древние религии, исключительно местные, национальные брали под свое покровительство только известные племена, известные гражданства; других они знать не хотели или преследовали. Словом, в древности *человек как человек* ничего не значил.

Христианство во имя внутреннего, духовного мира отрицает все видимые, материальные, условные, следовательно, несущественные, ничтожные различия между людьми. Все народы и племена, все касты и сословия, всех, и свободных и несвободных, оно равно призывает к спасению, всех равно называет по духу чадами Божиими, всем обещает и дает равное участие в благах небесных. Первые христианские общины представляют пеструю смесь разноплеменных и разносословных людей.

уравненных и соединенных истиной, жаждой приобщиться к одной небесной, духовной жизни.

Так возникла впервые в христианстве мысль о бесконечном, безусловном достоинстве *человека и человеческой личности*. Человек — живой сосуд духовного мира и его святыни; если не в действительности, то в возможности он представитель Бога на земле, возлюбленный сын Божий, для которого сам Спаситель мира сошел на землю, пролил святую кровь свою и умер на кресте. Такой совершенно новый взгляд на человека должен был вывести его из ничтожества, освободить из-под ига природы и внешнего мира, который случайно или давал ему значение, или ставил наравне с бессловесными, ниже их. Из определяемого человек стал определяющим, из раба природы и обстоятельств — господином их. Теперь, чрез истину, он стал первое и главное¹³.

Христианское начало безусловного достоинства человека и личности вместе с христианством рано или поздно должно было перейти и в мир гражданский. Оттого признание этого достоинства, возможное нравственное и умственное развитие *человека*, сделались лозунгами всей новой истории, главными точками или центрами, около которых она вертится. Правда, много скорбного встречаем мы на пути, уже пройденном; много скорбного еще предстоит. К благородным, великодушным порывам и стремлениям, к чистым побуждениям нередко примешивались низкие и мелочные страсти, плачевные заблуждения, добровольные и недобровольные ошибки, невежество и бессознательность. Но кто понимает историю, кто умеет читать ее спутанные, часто горькие страницы, для того есть отрада в великой цели и в постепенном, хотя и медленном, ее достижении. Так, для всех народов нового христианского мира — одна цель: безусловное признание достоинства человека, лица и всестороннее его развитие. Только все идут к ней разными путями, бесконечно разнообразными, как сама природа и исторические условия народов.

Германские племена, передовые дружины нового мира выступили первые. Их частые, вековые, неприязненные столкновения с Римом, их беспрестанные войны и далекие переходы, какое-то внутреннее беспокойство и метание — признаки силы, ищущей пищи и выражения. — рано развили в них глубокое чувство *личности*¹⁴, но под грубыми, дикими формами. Германцы жили разроз-

ненно. Их жестокость к рабам и побежденным была немолима; их семейные отношения были юридические. Издавна появились у них дружины — добровольные союзы, заключаемые для военной цели между храбрым, славным вождем и людьми, жаждавшими завоеваний и добычи. Начало личности положено в основание этих союзов. Предводитель не был полновластным господином дружины. Она была обязана верно служить ему, но и он обязан был делиться с ней добычей. Нарушение условий разрушало союз. С самого начала все отношения германцев запечатлены этим началом личности и выражаются в строгих юридических формах.

Перешедши на почву, где совершалось развитие древнего мира, где сохранились еще живые следы его и уже пронеслась проповедь Евангелия, они почувствовали всю силу христианства и высшей цивилизации. Долго благоговел варвар-германец перед именем Рима и не смел коснуться добычи, уже никем не защищаемой. Он ревностно принимал новое учение, которое высоким освящением личности так много говорило его чувству, — и в то же время вбирал в себя римские элементы, наследие древнего мира. Все это мало-помалу начало смягчать нравы германцев. Но и смешавшись с туземцами почвы, ими завоеванной, принявши христианство, усвоивши себе многое из римской жизни и быта, они сохранили глубокую печать своей национальности. Государства, ими основанные, — явление совершенно новое в истории. Они проникнуты личным началом, которое принесли с собою германцы. Всюду оно видно; везде оно на первом плане, главное, определяющее. Правда, в новооснованных государствах оно не имеет того возвышенного, безусловного значения, которое придало ему христианство. Оно еще подавлено историческими элементами, бессознательно проникнуто эгоизмом и потому выражается в условных, резко обозначенных, часто суровых и жестких формах. Оно создает множество частных союзов в одном и том же государстве. Преследуя самые различные цели, но еще не сознавая их внутреннего, конечного, органического единства, эти союзы живут друг возле друга, разобщенные или в открытой борьбе. Над этим еще не установившимся, разрозненным и враждующим миром царит церковь, храня в себе высший идеал развития. Но мало-помалу, под разнообразными формами, по-видимому, не имеющими между собою ничего общего или даже противоположными, воспи-

тывается человек. Из области религии мысль о безусловном его достоинстве постепенно переходит в мир гражданский и начинается в нем осуществляться. Тогда чисто исторические определения, в которых сначала создала себя личность, как излишние и ненужные, падают и разрушаются, в различных государствах различно. Бесчисленные частные союзы заменяются в них одним общим союзом, которого цель — всестороннее развитие человека, воспитание и поддержание в нем нравственного достоинства. Эта цель еще недавно обозначилась. Достижение ее в будущем. Но мы видим уже начало. Совершение неминуемо.

Русско-славянские племена представляют совершенно иное явление. Спокойные, миролюбивые, они жили постоянно на своих местах. Начало личности у них не существовало. Семейственный быт и отношения не могли воспитать в русском славянине чувства osobности, сосредоточенности, которое заставляет человека проводить резкую черту между собою и другими и всегда и во всем отличать себя от других. Такое чувство рождает в неразвитом человеке беспрестанная война, частые столкновения с чужеземцами, одиночество между ними, опасности странствования. Он привыкает надеяться и опираться только на самого себя, быть вечно начеку, вечно настороже. Отсюда возникает в нем глубокое сознание своих сил и своей личности. Семейный быт действует противоположно. Здесь человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убавкивается, предается покою и нравственно дремлет. Он доверчив, слаб и беспечен, как дитя. О глубоком чувстве личности не может быть и речи. Для народов, призванных ко всемирно-историческому действию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно. Иначе они должны бы навсегда оставаться под гнетом внешних, природных определений, жить, не живя умственно и нравственно. Ибо когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно: собственно действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие. Таким образом, личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое условие всякого духовного развития народа. Этим мы совсем не хотим сказать, что она непременно должна ставить себя в противопо-

ложность с другими личностями, враждовать с ними. Мы, напротив, думаем, что последняя цель развития — их глубокое, внутреннее примирение. Но во всяком случае, каковы бы ни были ее отношения, она непременно должна существовать и сознавать себя.

Этим определяется закон развития нашего внутреннего быта. Оно должно было состоять в постепенном образовании, появлении начала личности и, следовательно, в постепенном отрицании исключительно кровного быта, в котором личность не могла существовать. Степени развития начала личности и совпадающие с ними степени упадка исключительно родственного быта определяют периоды и эпохи русской истории.

Так, задача истории русско-славянского племени и германских племен была различна. Последним предстояло развить историческую личность, которую они принесли с собою, в личность человеческую; нам предстояло создать личность. У нас и у них вопрос поставлен так неодинаково, что и сравнение невозможно. После мы увидим, что и мы, и они должны были выйти, и в самом деле вышли, на одну дорогу. Теперь с этой точки зрения бросим беглый взгляд на внутренний быт древней России до Петра Великого.

II*

В древнейшие времена часть теперешней европейской России была заселена кроткими и мирными русско-славянскими племенами. Сельская промышленность и торговля сырыми продуктами были главным их занятием. Эти племена состояли из больших и малых поселений, которые, в противоположность разрозненной жизни первоначальных германцев, представляют наших предков собранными вместе, жившими группами. Вглядываясь в каждое поселение, мы видим, что это — разросшаяся, размножившаяся семья, которой члены и потомки живут вместе, на одном корню. Так, все первобытное славянское население России было огромное дерево, спокойно выросшее из одного зерна; поселения и племена — его вековые ветви и отпрыски.

* Считаем нужным предупредить читателей, что в этом очерке мы ограничились обзором одного юридического быта.

Внутри поселений царствует чисто семейный быт под управлением *старшего* рождением и летами. Его власть была семейная, родительская; подвластные ему были как будто его дети и между собой соединены родственными узами и отношениями.

Нам теперь трудно вздуматься в этот быт. Сами не подзревая, мы, когда его представляем, невольно придаем ему черты теперешнего человеческого общества, судим об нем по нашему семейному быту, проникнутому гражданственностью, которой он не знал. Его создала природа, кровь; она его поддерживала и им управляла. Оттого совершенная юридическая неопределенность — его отличительная черта. Напрасно станем мы искать в нем власти и подчиненности, прав и сословий, собственности и администрации. Человек жил тогда совершенно под определениями природы; мысль еще не освободила его от ее ига.

При всей ограниченности он представляет многие прекрасные черты. Люди жили сообща, не врознь, не отчужденные, как потом; не было еще губительного различия между *моим* и *твоим* — источника последующих бедствий и пороков; все, как члены одной семьи, поддерживали, защищали друг друга, и обида, нанесенная одному, касалась всех. Такой быт должен был воспитать в русских славянах семейные добродетели: кроткие, тихие нравы, доверчивость, необыкновенное добродушие и простосердечие. На рабов и чужеземцев они смотрели не с юридической, а семейной, кровной точки зрения. Оттого было хорошо у славян заезжим чужеземцам и пленным: и на них простирался покров и благословение семейной жизни. Много трогательных обычаев вынесли наши предки из этой первоначальной жизни, обычаев, от которых развалины долго сохранялись и теперь еще отчасти сохраняются в простом народе.

Этот древнейший, чисто патриархальный быт не мог быть вечным. Не говорите в грустном раздумье — «да, потому что все человеческое проходит». Все проходит, но не потому, что вечное круговращение, вечная смена одного другим — смысл и задача жизни. Все проходит потому, что существующее хорошее жизнь ведет еще к лучшему. В смерти — зачатки обновления и воскресения. На младенца, на юношу мы смотрим с внутренней скорбью; мы знаем, что исчезнет то непередаваемое очарование, которым исполнены его неопределенные невысказанные черты. Но выше этой скорби ставит нас сознание, что весен-

нее обаяние юности сменится строгой красотой и полной жизни возмужалого возраста. Оно даст нам силы подавить грусть, пристально и холодно взглянуть на юность, и мы в ней самой открываем тогда причины ее несостоятельности. К тому же приводит и история.

В чисто семейном быту наших предков лежали зачатки его будущего разрушения. Он был создан природой, а не мыслью, не сознанием, которые могли бы дать ему твердость, постоянство, а вместе и определенность, ему совершенно неизвестную. Но кровные связи слишком непрочны, чтобы поддержать общественный быт. Племена, заселявшие Россию, большею частью разрозненные, иногда враждующие между собою, тоже произошли от одной семьи, но почти совсем забыли свое единство; от него осталось одно смутное воспоминание. То же предстояло и семейному быту поселений; рано или поздно он должен был поколебаться. Чем дальше расходились линии, тем больше должно было забываться между ними кровное родство. Вдобавок семьи и роды переходили из поселения в поселение, ссорились и отделялись друг от друга. Могли быть и другие причины, приведшие поселения к внутренней разрозненности, ибо трудно, почти невозможно следить за развитием быта в эти отдаленные времена, от которых дошли до нас одни скудные, отрывочные известия, когда это так нелегко и в ближайшие эпохи. Мало-помалу внутренняя разрозненность поселений повлекла за собою важные изменения в их быте и устройстве.

Мы видели, что главами поселений были сначала старшие по роду и летам; потому они и назывались старейшинами; по смерти одного место его заступал старший по нем. Но когда народонаселение усилилось, семьи и линии в одном поселении размножились, появилось много старших родом и летами, а кто из них старее, невозможно было определить, — стали *избирать* старейшин.

С первого взгляда это изменение кажется неважным; но оно предполагало существенную перемену в прежнем быте. В нем, в этом изменении, обнаружилось, что поселения внутри себя распались на частные, тоже семейные союзы. Как прежде племена разъединялись, так и семьи в поселениях. Только условия последнего распада были не одинаковы с первым. Племена были разбросаны на большом пространстве; им можно было забыть и не знать друг друга. Напротив, в поселениях семьи жили рядом,

на небольшом клочке земли; забыть и не знать друг друга они не могли; связи и отношения между ними необходимо поддерживались, но они не были уже только дружественные. Особенные интересы производили между ними неприязненные столкновения, в поселениях — неустройства и несогласия. Лицо старейшины должно было вырасти, характер его власти изменился. Оставаясь по-прежнему патриархальной, она начинает получать легкий, едва заметный юридический оттенок, как и отношения семей, составляющих поселение. Необходимость внутренней тишины и порядка принуждает поселения прибегать, при несогласиях, к их собственному главе — старейшине. Они отдаются на его суд и приговор. Он становится посредником, миротворцем и судьей в поселении, лицом необходимым и еще более важным, чем был прежде.

Возрастающее значение старейшин было признаком возрастающей разрозненности семей. Каждая более и более начинает погружаться в свои особенные интересы, внутри себя жить своею особенною жизнью, точно такую же, какою жило сначала целое поселение. В этих семьях — тот же семейный, родственный быт, связи и кровное единство, такой же старейшина по роду и летам. Общие потребности еще поддерживают связи между семьями. О важнейших делах, которые до всех их касаются, старейшина поселения совещается с их старейшинами. С большим ослаблением единства поселения, которого старейшина был представителем, семьи мало-помалу становятся главными деятелями, и власть их общего старейшины ослабевает. Образуются в поселениях общие совещания — *веча* (от вещать), такие же неопределенные, юридически неуставленные собрания, как и весь тогдашний быт. То были сходбища семей для общего совещания — праматери теперешних крестьянских сходок, и столько же неправильные.

Мало-помалу семьи привыкают, несмотря на внутреннюю разрозненность, все важные и общие дела делать вместе, поговоря между собою. Поселения становятся *общинами*. Некоторые из них для защиты от внешних врагов строят ограды и получают название *городов*; но внутреннее устройство всех общин по-прежнему совершенно одинаково, ибо та же основа во всех.

Дальнейшее развитие общинного быта состояло в большем и большем его распадении. По мере того, как

возрастала особенность семей и они вживались в свои особенные интересы, единство общины продолжало ослабевать. Власть из рук общинных старейшин переходит к главам семейств, к старейшинам отдельных, родственных союзов. Наконец первые исчезают и избираются только в случае войны или опасности. Их место заступают вечевые собрания. Вместо одного главы в общинах появляются многие главы — старейшины над семьями. Неприязненные столкновения между ними, ссоры и вражды — неминуемы. Открываются нескончаемые усобицы, внутренние волнения в общинах. Это-то состояние и описывает летописец словами: «не было у них правды и встал род на род; были у них усобицы, и начали они воевать друг против друга»¹⁵.

Как развивался общинный быт, так в незапамятные времена и в огромных размерах развивался быт племенной. Мы можем судить об этом по разительному сходству племенного устройства с общинным. Общины, принадлежавшие к одному племени, собирались на племенные веча. Были и племенные старейшины — *князья*; но, как в общинах, они не везде удержались.

Когда общинный быт совершенно разрушился и семьи стали действовать независимо, свободно, вся власть перешла к ним. За обиду они удовлетворяли себя сами; спор решался боем или отдавался на суд выборных посредников. Так появилась *кровная месть, поединки, целовальники*¹⁶, или присяжные. Некоторые семьи по богатству, известности, талантам и другим причинам возвысились над прочими; появилось различие между *знатными и незнатными*, которое обозначалось все более и более. Так развивался древнейший общественный быт русских славян — у одних племен скорее, у других медленнее; у одних последовательнее, полнее и резче, чем у других; но главные черты этого развития те же у всех. Оно постепенно вело Россию к большему и большему разъединению. Политическое единство целого русско-славянского племени было уже утрачено; единство внутри племен исчезало. Даже общины вследствие этого развития распались на свои составные части; процессу разложения не предвиделось конца.

В это время возникает в России новый порядок вещей, принесенный извне.

В половине IX века на северном краю ее совершилось важное, многознаменательное событие. Несколько пле-

мен, истерзанных внутренними смутами, отсутствием порядка и устройства, решились власть над собою отдать чужеземцу: явление не столько загадочное, как кажется с первого взгляда. Кровный быт не может развить общественного духа и гражданских добродетелей. Взаимные зависти мешали племенам решиться на выбор начальника, старейшины, князя из своей среды, и они, чувствуя необходимость власти, невозможность самим управлять, лучше хотели подчиниться третьему, постороннему, равно чуждому для всех. Особенности, частные причины склонили их выбор на варягов. По призыву союзных племен является в Россию воинственная дружина, под предводительством вождей, которых наши предки по-своему называют князьями. О происхождении этой дружины и до сих пор спорят". Несомненным кажется, что преобладающие в ней элементы были германские. Едва перешедши на новую почву, она начинает воевать направо и налево, покорять окрестные племена и угнетать призвавшие. Под начальством второго своего предводителя, Олега, она оставляет север России и переходит на юг, продолжая дело завоевания и покорения и восполняя свои ряды подвластными племенами; некоторые поддаются ей добровольно. Так длится с лишком сто лет. Во всех действиях варягов в их новом отечестве проглядывают суровые победители, равнодушные к призвавшему и покоренному народу, страстные к войне, жаждавшие добычи. Воинственный дух заставляет их искать новых завоеваний, ведет к стенам Византии, и полуваряг-полуславянин Святослав еще мечтает навсегда поселиться в Болгарии. Где дружине было лучше, там и было ее отечество.

Из русско-славянских племен, волей и неволей покорившихся дружине, образуется сильное, обширное государство; но устройство его носит на себе неславянский отпечаток; кажется, оно было феодальное. Если этого не видно из слов летописи, что предводители варяжской дружины сажали своих мужей в покорившихся или покоренных городах", — слов, которые, впрочем, подлежат различному толкованию, — то это более нежели вероятно из того, что Рогвольд и Тур имели свои наследственные владения; что в договоре Олега и особенно Игоря говорится о состоящих под их рукою светлых князьях в русской земле, исчисляются их имена, все неславянские, посылаются от них послы вместе с послами Олега и Игоря и выговаривается на их часть контрибуция у греков.

Каковы бы ни были варяги, пришедшие к нам, их значение в русской истории весьма важно. Они принесли с собою первые зачатки гражданственности и политического, государственного единства всей русской земли. Мы совсем не хотим этим сказать, что без них и то и другое было бы невозможно; мы говорим о фактах, как они были. Со времен варягов появляются в России элементы, ей до того совершенно неизвестные. Она была раздроблена; варяги соединяют ее в одно политическое тело. Первая идея *государства* на нашей почве им принадлежит. Они приносят с собою *дружину*, учреждение не русско-славянское, основанное на начале личности и до того чуждое нашим предкам, что в их языке нет для него даже названия: ибо мы по привычке называем его *дружиной*; но это слово не вполне соответствует значению германского учреждения, придавая ему какой-то частный, домашний, полусемейный оттенок, какой дружины действительно получили у нас впоследствии, но которого не могли иметь сначала. Варяги приносят с собою право князя *наследовать после смерда-поселянина и новую систему управления*, неизвестную семейно-общинной доваряжской Руси¹. Эта система строга, убыточна, разорительна для подданных. Она совершенно равнодушна к управляемым, противопоставляет их интересы интересам правителя, его обогащение составляет главною целью и резко выдвигает его лицо из среды подвластных. Наконец, варягам принадлежит начало *вир*, или *денежных плат за преступления* в России: название и числовое сходство с германскими вирами обличают в наших вирах неславянское происхождение.

Не прошло века — и варяги начали терять свою национальность. В Святославе под варяжскими формами уже виден славянин. Частые сношения с варягами, прибытие в Россию новых северных дружинников и выходцев долго поддерживали национальную особность наших властителей; но в княжение Ярослава варяги сливаются с русскими славянами, перестают от них отличаться и совершенно подчиняются туземному русско-славянскому элементу. Говорится еще в летописях о варягах вне русской земли; о славяно-русских варягах не упоминается более ни слова.

Но вдруг не мог совершенно исчезнуть варяжский элемент; следы его остались. Около двух веков варяги были главными деятелями в нашей истории, основали у нас государство и все это время стояли во главе его; естест-

венно, что их учреждения долго сохраняли печать своего исторического происхождения. Только вместе с варягами и они обрусели впоследствии так, что, не зная мы ничего о варяжском периоде, мы бы и не заподозрили, что они нерусские.

При Ярославе Великом исчезли варяги; с его времени начинает преобладать русско-славянский элемент. Перерванная нить нашего национального развития подымается опять, с той точки, на которой оно остановилось перед пришествием дружины. Но отныне оно не ограничивается одним общинным, частным, домашним бытом: оно охватывает собою и государственный быт, созданный чужеземцами и вместе с ними подчинившийся влиянию туземного элемента.

Перед прибытием варягов семьи начинали становиться главными деятелями в нашем внутреннем быте. Единство внутри племен и общин падало. Но и семьям предстоял тот же путь. Подобно им, и они должны были размножиться и обратиться наконец в многоветвистые роды, а роды — со временем распасться на свои составные части и утратить сознание своего внутреннего, кровного единства. Так и было. В лице потомства Ярослава Великого или; правильнее, Владимира, выступает на сцену исторического действия *семья*, разросшаяся потом в целый *род*. Конечно, она не была единственная в тогдашней Руси; были и другие; но их судьбы терялись в массах народа и покрыты мраком. Не то представляет княжеский род Владимиров. Он действует в высшей государственной сфере; он один; он всегда на виду. Обладая Россией, он управляет ее историей. Оттого мы на нем можем подробно изучать постепенное развитие семьи и рода, законы этого развития и необходимый его исход. Весь наш государственный быт, от Ярослава до усиления Москвы, есть история развития родового начала, предоставленного самому себе, история его постепенного разложения и упадка.

Ярослав, князь чисто русский, первый задумал основать государственный быт Руси и утвердил ее политическое единство на *родовом начале*. Такая мысль в его время была естественна. Феодальный порядок не мог укорениться на нашей почве и исчез вместе с варягами. Оставалось построить государство по началам туземным, до которых тогда развился наш древний быт. Таким началом было начало семьи, рода. К нему и прибегнул Ярослав Великий.

Вся Россия должна была принадлежать одному княжескому роду. Каждый князь, член рода, получил свою часть; на каком основании он владел ею — не определено. Старший в роде, ближайший по рождению к родоначальнику, долженствовал быть главным, первым между князьями, *великим*. Ему, как старшему, подчинены все прочие князья в их действиях и отношениях между собою. Он был представителем единства княжеского рода, главою всех князей и вместе представителем политического единства Руси. Его местопребыванием был Киев, резиденция Ярослава и его предков. Открывался период уделов.

Государственная система Ярослава, очевидно, была неполна и слишком неопределенна. Множество вопросов, возникших потом, она оставила неразрешенными. Но не должно забывать, что в его время родовое начало не было еще обработано юридически, подробно, как впоследствии, когда оно, утратив жизнь, обратилось в материал для многосложной и утонченной казуистики. Кроме того, основное ее начало было непрочное; рано или поздно она должна была разрушиться сама собою.

Вскоре после смерти Ярослава, когда удельный период только что начинался, возникло колебание между территориальным началом и личным, родовым и семейным, — колебание, которое окончилось разрушением политического единства России. О том и другом мы скажем особливо.

По завещанию Ярослава²⁰, все сыновья его (кроме последнего — малолетнего) получили по уделу. Старшему достался Киев, и каждый старший в княжеском роде имел право владеть им. Чрез это Киев делался старшим, первым между удельными городами древней Руси. Так начало старшинства между князьями переходило и на территорию. Если Киев был уделом старшего, то Переяславль должен был сделаться уделом старшего по нем, ибо он достался второму сыну Ярослава; Чернигов — третьего, потому что он отдан был Ярославом третьему сыну и т. д. Словом, иерархия кровного старшинства должна была сообщиться земле и породить иерархию территориального, или городского, старшинства. Последняя, утвердившись, могла бы поддержать политическое единство России, ибо сама по себе она, однажды установленная, была неподвижна и прочна. Но ее создала первая, которая, беспрепятственно изменяясь со смертью и рождением князей, влекла за собою и территориальное устройство. Сначала, ко-

гда великий или другой князь умирал, происходило перемещение всех князей из удела в удел, для уравнивания кровного и городского распорядка. Но равновесие не могло долго продолжаться. Увеличение и уменьшение числа князей его нарушало; это должно было дать перевес началу личному. Появились беспрестанно новые дележи России. Начало территориальное уступило личному. А тогдашнее личное начало, в противоположность территориальному, не могло упрочить государственной целостности России. Его представлял род. Но закон развития рода, — распадение, уничтожение единства. Едва успели обозначиться линии — ближайшее потомство родоначальника, — как они начали уже забывать свое кровное единство, общее происхождение и стали преследовать свои частные, особенные цели, основываясь на правах их ближайшего предка, а не общего родоначальника. Частный, более тесный кровный союз исключал общий, обнимавший всех членов. Так, по началу родовому, которое должно было поддерживать единство России и княжеского рода, после общего родоначальника старшим был его старший сын, потом второй, потом третий и т. д. После этого первого, ближайшего потомства родоначальника, старшинство переходило к старшему внуку (старшему сыну старшего сына) родоначальника, потом ко второму, потом к сыновьям второго родоначальника по старшинству рождения и т. д. По другому началу, которое мы, в отличие от родового, будем называть *семейственным*, старший внук родоначальника (старший сын старшего сына), основываясь на ближайших интересах семьи, к которой он принадлежал, и не думая о далеких для него интересах целого рода, старался присвоить себе права, принадлежавшие его отцу, и не обращал внимания на права старшего дяди, основанные на родовом начале. Между обоими этими взаимно исключаящими, враждебными началами — *родовым* и *семейственным*, отчинным, — рано произошло колебание, которое, по закону распада кровного быта, должно было окончиться победою последнего над первым, а вместе с тем уничтожить и политическое единство России, основанное на единстве княжеского рода и так неразрывно с ним связанное.

Удивительное зрелище представляет западная, особенно юго-западная, Россия в первую половину периода уделов, до исхода XII века! Вся она покрыта русско-славянскими общинами, по-прежнему земледельческими и тор-

говыми, из которых многие были многолюдны и уже достигли высокой степени процветания. Вековые предания, семейно-общинное устройство и быт живут в них. Самое племенное устройство еще не совсем исчезло; временами ярко оживает о нем воспоминание. Над этим первобытным, патриархальным миром носится другой мир — странное слияние элементов, столько противоположных, варяжского и русско-славянского — мир князей-витязей, в которых течет еще варяжская кровь, мир дружин, еще являющих живые следы своего неславянского происхождения, мир кровавых битв, борьбы и беспоконной деятельности. Княжеский род, выдающийся над русскою землею, представляется оторванным от родимой почвы и не имеющим постоянного места; круг его деятельности очерчен; в нем он вращается; его члены разрознены, переходят с места на место, из одного края в другой, далекий, с нетвердым сознанием своих взаимных кровных отношений. В лице первых князей русско-славянский мир как будто готовится освободить себя от ига природы и дать простор личности ослаблением кровного союза.

Взгляд княжеского рода на Россию — какое-то слияние славяно-русского и варяжского элементов. Мысль о ее единстве, нераздельности как государства, странно существует подле мысли, что она — наследственное, вотчинное достояние княжеского рода и, следовательно, делима, как частное имение. На княжеских дружинах — та же печать. Дружинное начало поддерживают в период уделов старый варяжский обычай, воинственный дух князей, их беспрестанные переходы из княжества в княжество, из общины в общину, борьба родового начала с семейственным. Состав дружин — самый разнообразный, разноплеменный, разнохарактерный. Все равно, кто служит, лишь бы служил верно: торк¹¹, венгр, печенег, славянин — какое дело князю? Но преобладающий элемент в составе дружин должен был быть русско-славянский. Естественно, что в их ряд вступала вся удалая часть туземного населения, пробужденная от покоя патриархальной жизни и ринутая в тревожную деятельность надеждою добычи и приключений. С другой стороны, семьи и роды, выдававшиеся в общинах над остальными жителями, занимавшие высшее место в общественном быту, должны были наконец сгруппироваться около князей — вершин общественной иерархии. И те и другие внесли в чисто личный.

договорный характер дружин элементы семейной, патриархальной жизни. Для русского славянина с мыслью о князе необходимо соединялось представление о начальнике рода, племени: таков был круг понятий, в котором он вырос и который он переносил с собою всюду. Оттого, сделавшись дружинником, он становился к князю в отношении полудоговорные. Обрусевший князь, начальник дружины, выросший в патриархальной среде, тоже не мог пребывать в одних чисто личных, договорных отношениях к своей дружине: он был ее начальником и вместе становился ее отцом и братом. Так князь и его сподвижники начали представлять собою военное учреждение, переложенное на семейные нравы.

Сначала князья, полуправители-полувотчинники, по понятиям народа преемники прежних племенных и общинных старейшин, жили между собою согласно. Но недолго. Семейственное начало, разлагающее род, рано начало высказываться. Дяди обделяли племянников в пользу своих сыновей, племянники восставали на дядей, сыновья присваивали себе достоинство и владения отцов, на которые предъявляли свои права старшие родичи. Когда таким образом единство княжеского рода, находившее менее поборников, было поколеблено, вопрос о старшинстве между всеми князьями стал спорным, а с ним стало спорным и право владеть Киевом. Начались непрерывные войны, которыми решалась борьба двух враждебных начал—семьи и рода. Их предметом были Киев или уделы. Долго сохранял первый, в глазах князей, значение политического центра России; долго с его обладанием соединялась мысль о власти над прочими князьями. Но с упадком единства княжеского рода эта власть более и более становилась призраком. Тогда в княжеском роде повторилось то же явление, которое представляет развитие общин: мало-помалу видимый представитель единства стал простым князем. Члены княжеского рода начали с общего согласия решать дела, которые касались до всего княжеского рода и России. Появляются *съезды* князей, которые в истории рода соответствуют вечам в истории общин. Но и съезды не могут поддержать единство распадающегося рода. Они только обнаруживают слабость великих князей и еще раз высказывают начало семейственное, враждебное роду. Тщетно Владимир Мономах и сын его Мстислав Великий стараются воссоздать политическую систему Ярослава²⁷. Пока они живы, она держится, но не

собственными силами, а личными достоинствами и доблестями этих князей. Когда их не стало, опять обнаружилась вся ее несостоятельность, еще с большей силой, чем прежде; ибо Владимир Мономах и Мстислав, восстанавливая прежнее, сами действовали под влиянием вотчинного начала и в новом устройстве России дали первенство потомству Всеволода над прочими линиями Владимирова княжеского рода: это вызвало ненависть последних, особенно Святославичей. Ожесточенная борьба Ольговичей и Мономаховичей показала, что единство княжеского рода навсегда утрачено.

В продолжение этих неумолкающих битв и частых переходов князей на время оживает сначала дремлющее и постепенно распадающееся, потом сокрытое от нас варяжским слоем, — общинное начало. Мы видели, что само в себе оно не имело зачатков жизни и развития. Оно клонилось все более и более к упадку, потому что не было основано на личном начале, первом, необходимом условии всякой гражданственности, а покоилось на начале кровном, которое, отрицая себя, отрицало и древний общинный быт. Но, перенесенные в мир бесконечных войн, всегда окруженные опасностями, общины невольно должны были выступить на поприще политической деятельности. Эта деятельность вообще слаба, более отрицательна, но, тем не менее, заметна. Часто меняя владения, переходя из места в место, князья не могли иметь одних интересов с общинами. Первые, с малыми исключениями, равнодушно смотрели на последние. Отсюда — угнетения и насилия со стороны князей и их дружин. Им были нужны деньги и войско; прочее их мало заботило. За битвой и победой следовал грабёж, опустошение областей побежденного князя. Все это должно было наконец нарушить совершенное бездействие общин. Они почувствовали необходимость внутреннего единства, сомкнутости и приняли оборонительное положение. Не способные жить без князя, они, разумеется, желали себе князей, отличившихся гражданскими и воинскими доблестями, которые, управляя ими без насилия, могли, в случае нужды, защищать их от беспрестанных, разорительных набегов. Истощение и ослабление князей дало общинам возможность осуществлять это желание. Они обладали средствами для войны, они были целью вечных распрей между князьями. Оттого они мало-помалу стали выбирать себе князей, призывать и изгонять их, заключать

с ними ряды, или условия. Веча получили тогда большую власть, и звон вечевых колоколов часто раздавался в России. Возвратились опять времена избрания старейшин в лице князей. И точно, в предпочтении известных княжеских династий другим, в отношениях общин к князьям видны глубокие следы исключительно патриархального, доваряжского быта первых.

Особенно развились общины на севере. Между ними первое место занимает *Новгород*.

Те же самые причины, которые возбудили деятельность общин в тогдашней России, благоприятствовали и Новгороду. Но к ним присоединились еще и другие, не менее важные: географическое положение на торговом пути сделало Новгород центром промышленности и торговли и рано развило в нем общинный дух. Оттого новгородцы не ладили с своевольной варяжской дружиной, не терпели ее насилий, и когда она удалилась на юг, может быть, столько же манящая Византией, сколько тревожащая новгородцами, им стало свободнее дышать, чем остальной России: гордое требование князя у Святослава, кровавая месть над варягами при Ярославе²³ доказывают это. Когда настал период уделов, право ставить князя в Новгороде удержалось за князем киевским. За каждой сменой последнего следовала смена и новгородского князя. Так ни одна княжеская династия не могла в нем окрепнуть и утвердиться. Наконец внимание борющихся князей отвлечено было на юго-запад России, к Киеву — солнцу периода уделов, последней цели всех честолюбивых стремлений. Новгород остался вне этого движения; его не коснулись опустошительные войны; ему не надобно было несколько раз восставать из развалин, как прочим общинам древней России: с самого начала его общинный быт и сохранился, и поддерживался.

Подобно прочим общинам, Новгород не замедлил воспользоваться возможностью избирать своих князей. Но его положение и исторические обстоятельства дали ему средства удержать за собою эту привилегию и обратить ее в право, которым он почти неограниченно пользовался до самого конца своего политического существования.

На Новгород долго смотрели как на какое-то странное исключение из жизни древней России²⁴. Объяснить его старались иноземным влиянием. Теперь, когда старая Русь сделалась известнее, этот исторический предрассудок мало-помалу исчезает. Все внутреннее новгородское

устройство говорит против него. В этом устройстве нет ни одной нерусской, неславянской черты. Новгород — община в древнерусском смысле слова, какими были более или менее и все другие общины; только особенные исторические условия дали формам ее резче обозначиться, продлили гораздо долее ее политическое существование. Новгород остался для нас образцом первоначального русско-славянского общинного быта. В его внутреннем устройстве мы открываем ту же неопределенность, то же отсутствие твердой, юридической, на начале личности созданной общности, которые характеризуют нашу древнюю внутреннюю жизнь.

Новгород состоял из множества общин; каждая из них имела в главных чертах одинаковое устройство с целой новгородской общиной. В последней верховная власть находилась в одно и то же время в руках князя и веча. По существу своему противоположные, оба живут рядом, друг возле друга, и ничем не определены их взаимные отношения. Постоянного государственного устройства нет: новый князь — новые условия. Они сходны; но потому, что они — условия, они изобличают отсутствие ясного сознания о государственном быте. Князь избирается Новгородом; он от него зависит и всегда может быть удален из общины, когда им недовольны. Власть его ограничена в частностях, не определена в сущности. История родила к ней недоверие новгородцев: отсутствие государственных идей мешало схватить ее в определенных юридических формах. В свою очередь, и вече представляет совершенно неопределенное народное собрание. Дела решались не по большинству голосов, не единогласно, а как-то совершенно неопределенно, сообща. Живую картину его и теперь еще представляют крестьянские сходки. Несогласные с толпой подвергались народной мести; их убивали или бросали в Волхов; имущество их предавалось разграблению. Обыкновенно вече бывало одно; но иногда их бывало и два, враждебных между собою. Главные новгородские сановники — посадники и тысяцкие — были когда-то княжеские чиновники, но потом, вместе с князем, стали выборными. Как во всякой древней русской общине, в Новгороде были бояре и смерды²⁵, старшие и младшие. Но какова была новгородская аристократия, мы не знаем; знаем только, что в последнее время она играла важную роль.

Свою власть и свои отношения к другим Новгород сознавал в тех же формах, в каких и князь: он был *госпо-*

динои и государем, с городами считался братством. Подобно князьям, он управлял своими областями, которые не принимали участия в его политическом устройстве (исключая, может быть, той части новгородской территории, которая изначала была заселена одним племенем); жителей этих областей называл своими смердами, посылал ими править своих посадников и сбирал с них дань и войско.

Отношения Новгорода к остальной России определялись его характером и историей. Он был на краю России, далеко от театра вечных войн и раздоров. Торговля отвлекла всю его деятельность и внимание за море. Сделавши его богатым и сильным, она дала ему возможность быть всегда в оборонительном положении в отношении к князьям, ослабленным междоусобиями, говорить с ними смело и оружием поддерживать слова. Поэтому князья должны были избрать себе другую цель, обратиться в другую сторону. Новгород был как бы торговая волость, забытая и оставленная помещиком: богатая и сильная, потому что оставлена, оставляемая, потому что была сильна и богата и никому не поддавалась. Имея совершенно разные интересы с остальной Россией, но связанный с ней соседством, языком, верой и преданиями, Новгород всячески старался избегать неприязненных с нею столкновений, тонко и искусно лавировал между перекрещивающимися интересами князей, чтоб не вызвать из их среды сильного врага. Покуда князья еще кочевали из города в город, это до некоторой степени было возможно; но когда их переходы кончились и появились княжества, более или менее сильные, в близком соседстве от Новгорода, ему пришлось плохо. Рано завидел он возрастающую опасность. Сначала он все еще действовал уклончиво, потом, теснимый, старался по крайней мере не дать усилиться ни одному из соседних княжеств и держал сторону слабых против сильных. Но когда московское взяло решительный перевес над всеми другими, последний час Новгорода пробил. Иоанн III только совершил то, что было издавна задумано и приготовлено его предшественниками.

В судьбах Новгорода много странного, особенного. Его существование не прекратилось само собой, но насильственно перервано — жертва сколько идеи, столько же и физического возрастания и сложения Московского государства. Мы не можем о Новгороде сказать, как о древней Руси перед Петром Великим, что он отжил

свой век и больше ему ничего не оставалось делать, как исчезнуть. Незадолго перед уничтожением его самостоятельности, в нем обнаружилось какое-то неясное стремление идти по тому же пути, по которому великий преобразователь через два с половиной века повел всю Россию, — удивительное сближение, много говорящее и в пользу переворота, совершенного Петром, и в пользу Новгорода. Какой особенный оттенок получила бы реформа древней русской жизни в Новгороде, какие были бы результаты ее на почве, столько различной от московской по истории и общественному быту, мы не знаем и не беремся решить. В лице Новгорода пресекался неразвившийся, особенный способ или вид существования древней Руси, неизвестный прочим ее частям. Одно можно сказать с достоверностью; своим долгим существованием Новгород вполне исчерпал, вполне развил весь исключительно-национальный общинный быт древней Руси. В новгородском устройстве этот быт достиг своей апогеи, дальше которой не мог идти. Мы видели, каков он был, этот быт, и как мало было в нем зачатков гражданственности, твердого, прочного государственного устройства.

Тогда как на севере община усиливалась и прибирала власть к своим рукам, в остальной России нарождался новый порядок вещей. Политическая система, основанная Ярославом, которой шаткость обнаружилась с самого начала, привела наконец совершенное уничтожение государственного единства России. Долго еще манил Киев честолюбие князей и собирал их вокруг себя; но в пределах прежней Руси им становилось тесно. Владимир Мономах отдал в удел одному из младших своих сыновей, Георгию Долгорукому, отдаленный Суздаль. В этой малолюдной стране суздальский Юрий строит города, перезывает туда жителей, населяет пустыни. Привязанный к юго-западной Руси, цели всех русских князей, невольный изгнанник в далеком краю, младшем из всех, Долгорукий окружает себя воспоминаниями. Он устраивает свой удел по образцу, с которым не расставалась его мысль; на новую почву он переносит названия окрестностей киевских. Киев был еще для него тем же, чем и для других удельных князей со времен Ярослава; он всячески добивается чести быть великим князем киевским, мнимою главою прочих князей, мнимою главою России; всю жизнь свою преследует эту цель и наконец достигает незадолго до смерти.

Совершенно иначе действует уже сын и преемник его в суздальской области — Андрей Боголюбский. Он вырос и воспитан далеко от Киева; Киев для него не то, что был для его отца, Юрия. На западную и юго-западную Русь он смотрит как на владения. Воспоминания не связывают его с ними; сердце его лежит к суздальской области. Оттого ему здесь хорошо; он не думает переехать в Киев и сесть на великокняжеский престол. И в самом деле, в его глазах, не отуманенных историческими предрассудками, что было киевское великокняжеское достоинство? — пустой титул, не дававший никакой власти. Если Андрей не понимал этого отчетливо, то он так чувствовал: в 1169 году, взявши Киев приступом, он отдал его в управление брату своему Глебу, а сам остался жить во Владимире на Клязьме.

С этого времени все начинает принимать у нас новый вид. Сознание родового единства между князьями давно уже совершенно исчезло, а с ним мало-помалу и последний признак политического единства России. Великого князя в прежнем смысле уже не было, и Киев перестал быть столицей. Распадаясь и разъединяясь более и более, ветви прежде единого княжеского рода перестают наконец думать о Киеве, перестают искать великокняжеского достоинства; ближайшие семейные интересы мало-помалу сосредоточивают на себе все их внимание. Чем владели отцы и деды, тем хотят теперь владеть и князья, их потомки, не простирая далее своих честолюбивых видов. Они заботятся только об удержании за собою наследственных уделов — не более. Таким образом княжеские ветви и фамилии получают наконец оседлость. Князья перестают блуждать по лицу всей русской земли, ища владений и чести, соответствующих месту, которое они занимают в родовой лестнице. Россия распадается на несколько территорий, совершенно отдельных и независимых друг от друга; каждая имеет в главе свой особый княжеский род.

В политической сфере семья одержала верх над родом. Но это первенство не уничтожило родового начала в его основании, а только в явлении. Родовое начало сохранилось и продолжало жить. Теперь только ограничилось его поприще. Оно стало определять политический быт разрозненных княжений. В каждом из них, в малом виде, повторяется то же, что было сначала в целой Руси. Княжеские роды размножаются; между их членами

счет — по родовому старшинству. Старший называется великим, и потому много великих князей в России. Между князьями — распри и междоусобия за старшинство; потом мало-помалу и княжества раздробляются на мельчайшие части. Это должно было дать новый характер князьям. Действуя в ограниченной сфере, они становятся простыми вотчинными владельцами, наследственными господами отцовских имений. Их отношения к владениям, сначала неопределенные, теперь определяются. Области княжения обращаются в их собственность, которую они делят между своими детьми. Вместе с тем совершенно изменяется прежний полуваряжский-полуславянский характер княжеских дружин. Последние следы их нерусского происхождения исчезают. Пока война и странствования поддерживали воинственный дух князей и их окружающих, отношения князей и дружин были крайне неопределенны. Лицо князя не выдавалось резко. Он все еще был как бы первый между равными. Оседлая, более мирная жизнь должна была изменить эти отношения. Когда князь стал вотчинником, господином в своих владениях, — и дружинники его сделались мало-помалу его слугами. Они отправляют при нем придворные должности. Лицо князя вырастает. По-прежнему слуги лично свободны, переходят от одного князя к другому; но они служат, а князь — господин.

Такая перемена отразилась и во внутреннем устройстве областей. Общинное начало, вызванное на время к политической деятельности, опять сходит со сцены. Веча постепенно теряют государственный характер. Утверждается постоянная, близкая власть князей, владеющих уделами наследственно, как вотчинами. Самое управление областей получает иное значение. Из неопределенного, каким было сначала, когда князь сажал в области своих сыновей, оно более и более становится домашним, вотчинным. Князю нужно удержать у себя в службе своих слуг; прежде они жили вместе с ним войной и добычей; теперь им нужно содержание, и князь отдает им в *кормление* области. Слуги-кормленщики²⁶ управляют ими и получают с них доход. При отсутствии правильной государственной администрации эта система управления падает страшным разорением на области; произвол и корыстолюбие правителей, ничем не обузданные, возрастают до безмерности.

Конечно, не вдруг произошли все эти перемены и не равно последовательно совершались они в разных частях России; но зачатки этого первого порядка вещей уже видны в стремлениях Андрея Боголюбского: Андрей окружен уже не дружиной, а *двором*. Впервые при нем встречаем мы это общее название приближенных князя. Он не терпит в своей области соперников и хочет быть самовластным. Братьев и племянников своих он удаляет из своего княжества. Так в этом замечательном историческом лице впервые воплощается в государственном быте древней России новый тип — тип вотчинника, господина, неограниченного владельца своих имений, тип, который еще определеннее высказывается потом в его брате и преемнике, Всеволоде Георгиевиче, и развивается окончательно в Москве.

Мало-помалу из этого нового взгляда на княжества как на собственность князей, на власть последнего как на власть вотчинного владельца вырабатывается совершенно новый порядок наследования. Пока еще не исчезла мысль о государственном единстве России, а потом княжеств, один князь был непременно главным, первым, и таким был тот, который в роде был старшим. Но эта мысль начала постепенно исчезать, князья стали менее думать о сохранении государственного единства княжеств и делили их между своими детьми как наследство. Начало родовое мало-помалу стало вытесняться началом семейственным, и нисходящие получают перевес перед боковыми родственниками.

В нашей древней государственной жизни это было важным и решительным шагом вперед. Правда, раздробление России пошло тогда быстрее. Казалось, новое начало должно было совершенно уничтожить ее политическое существование. Но в этом начале разрешилась вся неопределенность, все вопросы, возникшие из Ярославовой политической системы. Оно обнаружило, что государственное устройство, основанное на родовом начале, несостоятельно; что государственный и кровный быт — враждебны, и один из них непременно должен уступить место другому: взяло верх кровное начало — исчезло государство. По крайней мере, история довела до какого-нибудь положительного, твердого результата. С него можно было идти далее, не оглядываясь назад, вновь приняться за созидание государства уже не по старым началам. Московские князья и сделали это.

В общем ходе развития древней русской жизни упразднение родового начала семейственным, покуда совершившееся в одной политической сфере, еще важнее, еще многозначительнее. До того времени у нас везде, во всем действует род. Он создает племена, общины, удельную систему. Пока не настало время его отрицания, человеку не было возможности выйти из очарованного круга исключительно кровных отношений; ибо род объемист и широк: нет ему границ, нет таких далеких ветвей, которые по родовому началу не могли бы сосчитаться родством. Конечно, личность, ища себе простора, часто порывала сети, которыми ее опутывали кровные отношения. Но выход из них был бессознателен, был нарушением закона, тяготевшего над целою жизнью. Чтоб отрешиться от него, нужно было мужество, которого хватало у иных на время, на один случай, не хватало на всю жизнь. Притом весь быт так был сложен по кровным началам, что о других отношениях, кроме родственных, не было и понятия. Но когда семейное начало взяло верх над родовым и главным стала семья, а не род, родовой союз потерял свою обязательную силу. Непризнание его перестало быть нарушением закона. Семьи стали независимы друг от друга. Их взаимные отношения, уже не определяемые кровными началами, должны были определяться чем-нибудь другим, и в этом еще не высказанном другом лежал зародыш будущих юридических отношений. Граница, предел кровного союза, таким образом, обозначились. Можно было наконец указать в жизни на отношения, в которых родство не было обязательно. Важный шаг вперед в развитии личности, прежде всюду стесненной и подавленной, которой кровные отношения заранее указывали место в общественном быту: низшее перед другими, несмотря на ее достоинства; по необходимости высшее перед прочими; иначе, захоти старший быть ниже младшего, позор падал на его голову и на голову его потомков.

Как всегда бывает в истории, новое семейственное начало выступило сперва робко, нерешительно и развивалось под старыми формами, созданными родовым началом. Вдруг оно не могло от них отрешиться: потому-то в нем мы опять встречаемся с понятием о старшинстве, зависимости младших от старших — этими принадлежностями родового начала. Новое борется с старым его же оружием, им прикрывает себя. По родовому началу, стар-

ший брат — отец прочим братьям и своим сыновьям. И те и другие — его дети; но как первый его сын — старший из его детей, то он старше и своих дядей. Так первенство семьи над родом присвоено сначала одному старшему сыну; родовой счет сыновей с боковыми удержан, а с тем вместе как будто и родовой союз. Но главное было сделано: новое начало поставлено и узаконено. Сперва оно изменило прежние родовые отношения, потом разрушило их.

В то время, как политическая жизнь России таким образом мало-помалу изменялась вместе с понятиями князей, последние следы единства исчезали, и на северо-востоке России еще удерживалась одна тень великокняжеского достоинства, важное событие ускорило окончательное падение старого и развитие нового порядка вещей. Мы говорим о монгольском иге. Как буря, оно сокрушило все, что было на поверхности; остались одни зерна, спрятанные в земле. Теперь они стали расти, и им было просторно; ничто им не мешало.

Монголы сделали много зла России: из конца в конец они ее опустошили, и опустошали не раз. Рабские привычки, понятия, наклонности, уловки — хотя и обманчивая, но единственная защита слабого против дикой силы — если не впервые тогда у нас появились, то усилились. Несмотря на это, они играют важную отрицательную роль в нашей истории.

Когда они завоевали Россию, князья не могли уже княжить без их согласия, а должны были ездить в Орду и получали от ханов ярлыки, или утверждение в княжеском достоинстве, если были им угодны. Это повлекло за собою важные изменения в нашем политическом быте. Удельные князья и великий князь остались. Прежде они садились на престол сами собою, большею частью по началам родового старшинства; по крайней мере, оно служило предлогом. Но ханам были чужды родовые расчеты. Какое было им дело до того, который князь имеет лучшее право по народным понятиям? По ним, тот был князь, кто им был угоднее, кто ревностно исполнял их волю, был верным слугой и исправно платил дань. Это были личные качества, не всегда совпадавшие с родовыми преимуществами. Так является для прав князей на престол новое мерило, чуждое древней Руси; оно противопоставляется прежнему родовому и разрушает его. Одно не лучше другого. Зато исчезает старое, отжившее, которое мешало идти вперед; татарское вслед за ним исчезло.

Этого мало: монгольское иго усилило власть великого князя и тем воссоздало видимый центр политического единства Руси²⁷. В северо-восточной ее половине, как прежде в юго-западной, и по тем же причинам, великокняжеское достоинство перед монгольским игом стало пустым титулом; оно не давало уже никакой власти над прочими князьями. Теперь великий князь — орган и орудие ханской воли. Он действует, распоряжается князьями во имя хана. Неповиновение ему — неповиновение ханской воле, за которым следовало лишение княжеского сана, самая смерть. К услугам великого князя, ханского слуги, — монгольские отряды против ослушников. Странное явление! Монголы разрушают удельную систему в самом основании, воссоздают политическое единство, словом, действуют в наших интересах, сами того не подозревая!

Но; как мы видели, они действовали отрицательно. Положительно воспользовались всеми выгодами монгольского ига даровитые, умные, смысленные князья московские.

Около века после наложения на нас монгольского ярма московскому князю. Иоанну Даниловичу Калите, внуку Александра Невского, удалось добиться великокняжеского достоинства. Он был один из самых небогатых и несильных князей: только восемь городов ему принадлежало. Эта небольшая княжеская вотчина через столетие выросла в Московское государство.

Иоанн Калита был в полном смысле князь-вотчинник и смотрел на свои владения как на собственность. В нем вполне высказался этот новый тип власти, сменивший прежнюю. Озабоченный одною целью умножить свои вотчины и оставить большое наследство детям, Иоанн действует очень искусно и пользуется всем, чем может. Обязанность собирать ордынскую дань в это время лежала на великом князе. Это представило Иоанну удобный случай обогатиться; он накупил много волостей и городов на Руси, собрал большую казну и в завещании все свои имения разделил между женой и детьми.

Когда он умер, несколько князей искали великокняжеского достоинства, все еще на основании родового старшинства; но в глазах ханов права Симеона, сына Иоаннова, были лучше, действительнее. Его отец служил верой и правдой; сам он имел много денег и мог в Орде дарить больше, нежели его соперники: лесть и золото

доставили ему то, чего бы он никогда не добился другими путями.

Вот каковы были первые зачатки будущего Московского государства, обнявшего всю Россию! Оно создается по новым началам. Московские князья, прежде всего, неограниченные, наследственные господа над своими вотчинами; прежде всего, они заботятся о том, чтобы умножить число своих имений. Лучшим средством для этой цели было великокняжеское достоинство — и они стараются удержать его за собою. Единственным средством для удержания великокняжеского достоинства была милость, благоволение ханов — и они ничего не щадят, чтобы им нравиться. Как великие князья они главные, первые между всеми русскими князьями; но они знают, что само по себе это первенство — звук, не имеющий смысла; что только действительная сила может дать ему значение, которое оно давно утратило. Ограждаемые покровительством ханов, авторитетом их власти и опираясь на свою собственную силу, московские великие князья угнетают князей, правдой или неправдой отнимают у них владения, вмешиваются в их распри, становятся их судьями и собирают в их владениях ордынский выход¹⁾.

Так действовали все московские великие князья. Быстро подвигались они к своей цели, быстро обращалась Россия в их наследственную вотчину. Каждый великий князь передавал свое достоинство старшему сыну. Чем далее, тем они становились самостоятельнее. Опираясь на собственное могущество, они начали решительно господствовать над удельными князьями и сбрасывать иго Орды, тягостное и для них более ненужное. К этому времени она уже ослабела. В ней появились междоусобия, и несколько ханов соперничали между собою. Еще московские великие князья пользовались этими враждами, чтоб более утвердиться, — однако недолго. Вскоре открылась для них возможность без опасения сбросить личину покорности.

Но в самом московском великом княжении скрывались еще зачатки разрушения, наследие предыдущего политического быта. Как вотчина, оно делилось на части между детьми великих князей. Старший великий князь не был сильнее прочих, получая равный с ними удел. Внутренние раздоры и счеты между московскими князьями были неминуемы и обнаружались, когда образовались боковые линии, по-прежнему предъявлявшие свои права на

великокняжеское достоинство по началам родового старшинства. Кровное начало очевидно мешало еще государству. Оставалось сделать один шаг — пожертвовать семьей государству: этот шаг был сделан, но не вдруг. Чтоб отвратить возможное соперничество между детьми, великие князья стали давать старшему сыну большую часть, а прочим — меньшие. Кровные интересы начали мало-помалу уступать место желанию сохранить и упрочить силу московского великого князя. В этом уже заключалась неясная мысль о государстве. Части братьев великого князя становились все меньше. Братья Иоанна III получили только по три города; братья Василия Иоанновича не были даже самостоятельными удельными князьями, а простыми владельцами, подданными великого князя. Уделы совершенно исчезают, и когда разными неправдами Василий отнял удел у князя северского — последний в тогдашней России, — какой-то юродивый бегал по Москве с метлой, говоря, что пора очистить государство от последнего сору". И точно, уделы сделались тогда анахронизмом, запоздалым остатком прошедшего.

Уничтожение удельной системы и соединение России в нераздельное целое, под властью одного великого князя, было не только началом новой эпохи в нашей политической жизни, но важным шагом вперед в развитии всего нашего внутреннего быта. Политическая система, созданная московскими великими князьями, — нечто совершенно новое в русской истории; она представляет полное отрицание всех прежних систем, не в одних явлениях, но в самом основании. Ярославова система покоилась на родовом начале и раздробила Россию на княжества; семья после Андрея Боголюбского обратила княжества в вотчины, делившиеся до бесконечности. В московской системе территориальное начало получило решительный перевес над личным. Кровные интересы уступают место политическим; держава, ее нераздельность и сила поставлены выше семьи. В истории образования Московского государства не столько важно стеснение и покорение уделов, принадлежащих немосковским князьям, сколько постепенное увеличение части, оставляемой великому князю, и уменьшение частей прочих князей, его братьев; то было делом возрастающей силы, это — актом мысли, сознания.

Так, сначала в государственной сфере происходит отрицание исключительно кровного, семейного начала, последнего, самого ограниченного круга кровного союза

и кровных отношений. На сцену действия выступает личность. Она не произвольно выходит из кровного союза, ставит себя выше семьи: она отрицает их во имя идеи, и эта идея — государство. Появление государства было вместе и освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоятельного действия личности, следовательно, началом гражданского, юридического, на мысли и нравственных интересах, а не на одном родстве основанного общественного быта.

Но и личность, и идея государства сначала едва видимы под старыми, установившимися формами. И та и другая ими проникнуты. Тип вотчиновладельца, полного господина над своими имениями, лежит в основании власти московского государя; из-за этого типа трудно разглядеть ее новое, более высокое значение. Московский государь еще великий князь; он отчич, дедич, наследственный господин своих владений. Области и государство — его вотчина; придворная служба преобладает, и название *слуги* теперь почетный титул, жалуемый за заслуги. Подобно удельным князьям-вотчинникам, он раздает свои области в кормление своим слугам. Долго сохраняются эти черты; до самого Петра Великого они мало изменяются, по крайней мере снаружи. Но теперь рядом с ними проступают и другие — провозвестницы нового. С Иоанна III московские государи принимают титул *царя*, усваивают многие принадлежности власти византийских императоров: герб двуглавого орла, регалии, венчание и помазание на царство; великокняжеский двор и придворные церемонии устроиваются по византийскому образцу. Самому ли Иоанну принадлежит первая мысль этих нововведений, или она внушена ему его супругой, греческой царевной Софией, — все равно. Они свидетельствуют, что прежние формы были недостаточны, узки, не выражали нового значения московского государя. Из-под великокняжеской вотчины проглядывает государство, отвлеченное нравственное лицо, имеющее свое физическое существование и самостоятельное, разумное значение. Образуется государственная территория — не случайное соединение земель, а правильное органическое тело, имеющее свою жизнь и свои потребности. Внешняя политика и деятельность московских государей, войны и мирные трактаты, приобретения земель перестают быть частным делом и получают высокое разумное значение. Ими удовлетворяются теперь потребности государства. Начало подданст-

ва начинает сменять начало холопства; является понятие о государственной службе, о гражданстве, о равенстве перед судом. Улучшения внутреннего управления, судопроизводства, обуздание произвола кормленщиков, законодательство — все это показывает, что в Московском государстве под старыми формами развилось уже новое содержание.

Развитие совершилось, впрочем, медленно. В продолжение с лишком двух столетий старое было сильно поколеблено, но не разрушено; новое проникло в жизнь, многое в ней изменило, но не отрешилось от исторических форм, под которыми появилось; все стало другим, однако сохраняло прежний вид. Московское государство только приготовило почву для новой жизни.

Эту переходную эпоху нашей истории — утреннюю зарю нового, вечернюю старого — эпоху неопределенную, как все серединные времена, ограничивают от предыдущего и последующего два величайших деятеля в русской истории, Иоанн IV и Петр Великий: первый ее начинает, второй оканчивает и открывает другую. Разделенные целым веком, совершенно различные по характеру, они замечательно сходны по стремлениям, по направлению деятельности. И тот и другой преследуют одни цели. Какая-то симпатия их связывает. Петр Великий глубоко уважал Иоанна IV, называл его своим образцом и ставил выше себя¹⁰. И в самом деле, царствование Петра было продолжением царствования Иоанна. Недоконченные, остановившиеся на полудороге реформы последнего продолжал Петр. Сходство заметно даже в частности. Оба равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими, достойнейшими ее представителями; но Иоанн сознавал ее как поэт, Петр Великий как человек по преимуществу практический. У первого преобладает воображение, у второго — воля. Время и условия, при которых они действовали, положили еще большее различие между этими двумя великими государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менее реальной, нежели преемник его мыслей, Иоанн изнемог наконец под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать. Борясь с ней насмерть много лет и не видя результатов, не находя отзыва, он потерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучени-

ем: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик. Его отец Василий, его сын Федор не падали. Этим мы не хотим оправдывать Иоанна, смыть пятна с его жизни; мы хотим только объяснить это до сих пор столько загадочное лицо в нашей истории. Его многие судили, очень немногие пытались понять, да и те увидели в нем только жалкое орудие придворных партий, чем Иоанн не был. Все знают и все помнят его казни и жестокости; его великие дела остаются в тени; о них никто не говорит. Добродушно продолжаем мы повторять отзывы современников Иоанновых¹⁾, не подозревая даже, что они-то всего больше объясняют, почему Иоанн сделался таким, каков был под конец: равнодушие, безучастие, отсутствие всяких духовных интересов — вот что встречал он на каждом шагу. Борьба с ними — ужаснее борьбы с открытым сопротивлением. Последнее вызывает силы и деятельность, воспитывает их; первые их притупляют, оставляя безотрадную скорбь в душе, развивая безумный произвол и ненависть. Петр, одаренный страшной волей и удивительным практическим смыслом, жил веком позже, когда обстоятельства уже изменились и многое было приготовлено; у него был предшественник, даже предшественники; с уверенностью гениального человека он принялся за свое дело; он имел редкое счастье видеть, как его начинания зрели и приносили плоды; но и характер самого Петра отличился в суровую, жесткую форму; и ему нужны были шумные развлечения, в которых он мог бы забываться; и на него находили минуты, когда мышцы его слабели, и тяжкое, скорбное изнеможение, душевная усталость прерывала его неутомимую деятельность.

Внутренний быт России, перед появлением московского государства, в главных чертах мало изменился против прежнего. Кровные начала, исчезнувшие в политической сфере, продолжали жить и преобладать в остальных. Необходимость создать крепкое, прочное государство шла впереди, торопила события и рано обнаружила несостоятельность кровных начал в политической жизни. Но в гражданской сфере они не подвергались такой строгой критике и могли жить спокойно, не тревожимые ничем; они и жили, как будто рассчитывая на бесконечное существование.

Древняя доиоанновская Русь представляется погруженной в родственный быт. Глубоких потребностей дру-

того порядка вещей не было, и откуда им было взяться? Личность, — единственная, плодотворная почва всякого нравственного развития, еще не выступала; она была подавлена кровными отношениями. Были, конечно, некоторые важные реформы: христианство и церковь пересоздали семейный быт, истребили многоженство и наложничество. Князья постепенно уничтожили кровную месть и заменили денежным вознаграждением, сперва в пользу обиженного или его родственников, потом вирой в свою пользу. Они установили уголовные наказания, неизвестные древней Руси. Но таких реформ было немного. Общины, города и волости по-прежнему не имели никакого правильного общинного устройства и потеряли то временное политическое значение, которое получили было. В них сохранялся старинный славянский общинный быт, развившийся из исключительно родственного. Только теперь над ними тяготела произвольная, корыстолюбивая власть княжеских областных правителей-кормленщиков, которые владели ими, как своими вотчинами, управляли сами и посредством своих слуг, и так разоряли, что князья многим общинам дали, в виде изъятия и милости, жалованные несудимые грамоты, которыми они освобождались от подведомственности правителям. После общин существует множество отдельных родов. Большею частью они находились в службе у других родов или князей и были бесконечно различны по богатству и знатности. С уничтожением уделов княжеские фамилии также низшли в разряд служилых родов. Теперь все эти роды стали служить московскому государю. Одни непосредственно окружили его, сделались его приближенными; прочие стали ниже в известной постепенности. Так сложилась лестница родов, которой низшие ступени терялись в простом народе, высшие оканчивались у подножия царского престола. Общих интересов, которые могли бы соединить эти роды в одно целое и создать сословие, не было и не могло быть; они жили разрозненно, каждый своею особенною жизнью, преследуя свои исключительно родовые интересы. Стать выше других родов, по крайней мере не уступить первенства низшим, не потерять своей *родовой чести* — вот что прежде всего сосредоточивало на себе все их внимание и часто производило между ними неприязненные столкновения. Перенеся в службу родовые понятия и стремления, они должны были рано или поздно встретиться лицом к лицу с государством, которого жи-

вым представителем был теперь царь; ибо для них служба была внешним выражением их родовых преимуществ; они старались подчинить ее законам родового старшинства, сделать орудием своих частных интересов. Не так понимали ее московские государи. Они требовали от своих слуг полного, безусловного повиновения; они хотели видеть в них гибкие органы своей власти. Они проводили начало личности; служебные роды — начало родовое. Царь посылал на службу двоих, одного старшим, другого младшим, по своим расчетам; а младший отказывался служить, говоря, что по родовым он старше и его честь оскорблена. Ни польза государства, ни царская опала, ни самый страх смерти не могли принудить его ею пожертвовать. Царю оставалось что-нибудь из двух: или все служилые роды заменить людьми неродословными, или при раздаче мест сообразоваться с законами родового и служебного старшинства. Первое было невозможно; оставалось согласиться на последнее. Так раздача мест, назначение в должности не зависели от безусловной воли царя. Ему хотелось назначить лучшего, достойнейшего, а он назначал по необходимости старшего. Мало-помалу важнейшие государственные чины и звание члена царской думы сделались исключительною принадлежностью известных родов; другим доступ к ним был закрыт. Правда, царь мог давать чины кому хотел; но с высшими чинами естественно были соединяемы и высшие должности в государстве. Если высший чин, а вместе и высшая должность, были даны человеку незнатного рода, все прочие знатные родичи, которым достались относительно низшие, отказывались служить. Через это цари были вынуждены жаловать в высшие чины одних родословных людей. В царской думе заседали одни высшие сановники — бояре и окольные¹²; поэтому она наполнилась одними знатными родичами; прочие, несмотря ни на какие личные качества, не могли сделаться ее членами.

Государство не могло ужиться рядом с этими домашними, частными, кровными интересами, которые в лице безграничных областных правителей и служилых родов связывали ему руки и отнимали возможность свободно развиваться и действовать. Рано вступило оно с ними в борьбу и довершило в администрации победу над уделами и кровным началом, которая еще прежде была одержана в более широкой, политической сфере. Уже Иоанн III получил название «Грозного» за строгое обращение

с вельможами¹¹. Для обуздания произвола областных правителей он издал «Судебник»¹², которым установил судопроизводство и величину пошлин. Есть даже известие, что он первый завел окладные книги¹³, которыми определил доходы правителей с областей. Но никто ни прежде, ни после, до самого Петра Великого, не действовал так энергически против вельмож и областных правителей, угнетавших народ, как Иоанн IV. Не знаем, до какой степени были справедливы его опасения против их заговоров и тайных козней: подозрительный, страстный характер мог внушить ему многое, чего не было. То верно, что в некоторых вельможах, бывших удельных князьях или близких их потомках, не совсем исчезли при нем воспоминания о недавнем времени, когда они были такие же независимые владетели, как царь московский. Они не могли быть ему преданы, служили неохотно, роптали и изменяли или уезжали, когда могли. Остальные думали только о себе и не радели о государстве. Области находились в бедственном положении: целые села пустели от грабительства правителей и их слуг. Иоанн предпринимает решительные коренные реформы и надеется осуществить их посредством двух органов, враждебных вельможеству и, следовательно, наилучших для его целей: людей худородных, в особенности *дьяков*, грамотных, знающих порядок управления, но большею частью низкого звания и потому не достигавших до высших степеней, и общин, которые страдали от произвола правителей. Сначала Иоанн отделил уголовное и уголовно-полицейское управление и поручил его в исключительное заведывание выборных от общин, губных старост¹⁴ и целовальников (присяжных). И те и другие существовали и прежде, но теперь они получили юридическое значение, которого не имели. Потом в 1550 году он издал «Судебник»¹⁵. В нем гораздо подробнее, нежели при Иоанне III, определены были порядок суда, пошлины, некоторые части гражданского управления и власть областных правителей еще более ограничена: старосты и целовальники получили участие в гражданском суде, без них правители не могли судить никаких тяжб и исков, не могли сажать в тюрьму жителей общин; даже раскладки и сбор податей и повинностей предоставлены выборным; таким образом, разорительное вмешательство областных правителей и их людей должно было прекратиться. Впоследствии и сбор всех особливых царских доходов поручен выборным от

общин. Правители удержали одну распорядительную, поверхностную, общую власть над областями; внутренний распорядок отдан в руки выборных. Но недовольный еще этими мерами и видя, что злоупотребления и угнетения продолжались, Иоанн наконец совсем уничтожил областных правителей и все местное управление отдал в полное заведывание самих общин, подчинив их непосредственно московским приказам. Остались наместники в одних пограничных областях, но к ним были, кажется, приставлены дьяки, ибо после Иоанна мы находим уже при наместниках дьяков. Эти дьяки должны были наблюдать за действиями наместников, сами принимали участие в управлении и обо всем доносили царю.

Таковы были реформы Иоанна в областном управлении; но еще важнейшие предприняты им в государственном устройстве. Цель их та же: сломить вельможество, дать власть и простор одному государству. Все главные отрасли управления вверены дьякам: они заведывали приказами; вельможи почти отстранены от гражданских дел, и за то ненавидели Иоанна. Еще дума находилась в их руках; они одни были ее членами; Иоанн в нее вводит новое начало *личного* достоинства. Под названием *думных дворян* он сажает в думу людей незнатного рода, им самим избранных: при ее неколлегиальном устройстве они не могли не иметь важного влияния на ее решения. Но все эти меры казались Иоанну еще недостаточными: он хотел совершенно уничтожить вельможество и окружить себя людьми незнатными, даже низкого происхождения, но преданными, готовыми служить ему и государству без всяких задних мыслей и частных расчетов. В 1565 году он установил *опричнину*. Это учреждение, оклеветанное современниками и не понятое потомством, не внушено Иоанну — как думают некоторые — желанием отделиться от русской земли, противопоставить себя ей: кто знает любовь Иоанна к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он старался облегчить его участь, тот этого не скажет. Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество, на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства: мысль, которая под другими формами была осуществлена потом Петром Великим. Если эта попытка была безуспешна и наделала много зла, не принесла никакой поль-

зы, не станем винить Иоанна. Он жил в несчастное время, когда никакая реформа не могла улучшить нашего быта. Опричники, взятые из низших слоев общества, ничем не были лучше бояр; дьяки были только грамотнее, сведущее в делах, чем вельможи, но не уступали им ни в корыстолюбии, ни в отсутствии всяких общих нравственных интересов; общины, как ни старался Иоанн поднять их и оживить для их же собственной пользы, были мертвы; общественного духа в них не было, потому что в них продолжался прежний полупатриархальный быт. За какие реформы ни принимался Иоанн, все они ему не удались, потому что в самом обществе не было еще элементов для лучшего порядка вещей. Иоанн искал органов для осуществления своих мыслей и не нашел; их неоткуда было взять. Растерзанный, измученный бесплодной борьбой, Иоанн мог только мстить за неудачи, под которыми похоронил он все свои надежды, всю веру, все, что было в нем великого и благородного, — и мстил страшно. Он умер. Современники его проклинали. Конечно, не все: поверья, которые и теперь еще ходят о нем в простом народе, доказывают это¹⁸. Потомство не воздало ему должного, даже не пожалело о нем. А ученые и писатели — они повторяли слова современников, которые кричали громче других. Только один его понял — великий преемник его начинаний, которому суждено было довершить его дело и благословить Россию на новый путь.

После Иоанна IV все его реформы или рушились, или потеряли смысл. Некоторые исчезли еще при нем; так, при нем исчезло разделение на опричину и земщину¹⁹; появились опять наместники в областях. После него чин думного дворянина обратился в обыкновенный чин, который жаловался и знатым родичам. Старосты и целовальники, в значении, которое придал им Иоанн, исчезли, мы даже не знаем когда; они удержались только в уголовном управлении и собирали некоторые доходы царской казны, да то было не привилегия, а обязанность, повинность.

Но мысль о реформах, о необходимости улучшить внутренний быт не исчезла. Уже при сыне и преемнике Иоанна она выразилась в законодательной мере, которой настоящий смысл не понят, потому что на нее до сих пор смотрят с теперешней, а не с тогдашней точки зрения. В 1592 году переходы крестьян с места на место были запрещены; сельское народонаселение прикреплено к земле. С юридической точки зрения это событие необъяснимо;

но на него и не должно так смотреть. В древней России не было юридического быта; личность в гражданской сфере сама по себе ничего не значила. Оно было вызвано целями политическими, административными и полицейскими. Еще до Иоанна IV по многим причинам усилилось в России бродяжничество; право, основанное на обычае, переходить с земли на землю, при тогдашней грубости, необразованности, его усиливало. Привыкнув к скитальческой жизни, многие шли на разбой и воровство (татьбу); появились целые шайки лихих людей, от которых не было покоя жителям. Сверх того, обычай переходить породил между землевладельцами другой обычай — переманивать крестьян с чужих земель на свои, обещая выгоды и льготы. Богатые воспользовались им в ущерб бедных. Феодор Иоаннович или, правильнее, Борис Годунов хотел пресечь и то и другое зло в самом основании и запретил переходы; окончательное их уничтожение относится к царствованию Шуйского⁴⁰. Вследствие совершенной юридической неопределенности древнего русского быта, за уничтожением переходов последовало постепенное смешение двух сословий, до того совершенно различных: холопского и крестьянского. Сливаясь, они воздействовали одно на другое; многие положения, относившиеся сначала к одним холопам, перенесены и на крестьян. Удержались неважные, чисто формальные исторические различия, более и более терявшие смысл.

Вскоре потом наступила эпоха внутренних смут, неурядиц и волнений. Ими начался XVII век. Повод их был случаен, исход не принес никаких существенных изменений в прежнем быте. После 1612 года все пришло в прежний порядок⁴¹. Как море, Россия взволновалась и улеглась, не сохранив в своем общественном устройстве никаких следов недавней бури: очевидно, время умственного и нравственного развития еще не наступало. Оттого вся эта эпоха вообще более относится к политической, нежели к внутренней истории России. Но она обнаружила, что идея государства уже глубоко проникла в жизнь: Россия сама встала на свою защиту во имя веры и Москвы, тогдашнего государственного центра нашего отечества.

Когда новая династия вступила на престол⁴² и все успокоилось, опять возобновилась на время прерванная борьба царей с отжившими остатками догосударственной России. По-прежнему поприще ее — администрация, упра-

вление; но теперь она совершается тихо, медленно. Победа государства обозначается целым рядом постепенных законодательных реформ, которые идут, не прерываясь, до окончательной великой реформы Петра. Иоанн IV ненавидел и боялся своих врагов и оттого придал борьбе страстный, кровавый характер. Московские государи XVII века их уже не страшатся. Они как будто предчувствуют их необходимое уничтожение и подготавливают его исподволь, косвенными мерами.

Алексей Михайлович обходит думу и все важнейшие дела делает посредством подъячих Тайного приказа¹¹. Местнические споры становятся мало-помалу безвредными для государства. Оно их преследует как ослушание царской воли или откладывает. Наконец в 1682 году Федор Алексеевич соборным постановлением уничтожил их совсем. Итак, к временам Петра Великого от родового вельможества удержались только наследственность важнейших чинов и Боярская дума, последняя уже почти без всякого государственного значения; но и они с учреждением сената и введением табели о рангах исчезли навсегда¹².

Областные правители были ограничены и стеснены. Многие доходы их, особливо от суда и управления, стали доходами государства. При Алексее Михайловиче областные правители из наместников стали воеводами. Их право управлять областями посредством своих людей исчезает; место последних заступают приказные люди. В царствование Федора Алексеевича воеводам придают выборные от дворян. Сверх того, многими законами воеводы поставлены в совершенную административную зависимость от московских приказов, обязаны были давать подробный отчет в своих действиях, словом, перестали быть неограниченными владельцами управляемых областей. Характер кормленщиков они удержали еще за собою, но уже не в прежнем значении: они стали теперь вместе и органами государства.

Но не только в административной сфере уходил и изглаживался прежний порядок вещей, когда-то исключительно правивший внутренней жизнью России: он упал и разрушался даже в гражданском быту; и в нем стало высказываться начало личности. Юридические отношения начали брать верх над кровными, родственными. Прежде порядок наследования, имущественные и личные отношения между членами семей и родов определялись одним

обычаем, нравами, свято соблюдаемыми; теперь они стали нуждаться в посредничестве государства; оно устанавливает их и охраняет страхом наказаний. Появляется порча общественных нравов — естественная и необходимая спутница всех переходных эпох, когда один порядок вещей сменяется, но еще не сменился другим. Напрасно будем мы искать причину этой видимой перемены в посторонних влияниях — татарском иге и внутренних смятениях начала XVII века. Нельзя отрицать этих влияний, но они всего не объясняют: грубая, неразвитая и непризнанная личность искала простора; в тесном кругу преобладающих кровных отношений ей становилось душно; они не давали ей развиваться, подавляли ее своими непреложными законами. И без всяких посторонних влияний она рано или поздно предъявила бы свои права и в частном, общественном быту, как прежде предъявила их в политическом и государственном. Закон жизни был один — и явления были одинаковы.

III

Древняя русская жизнь исчерпала себя вполне. Она развила все начала, которые в ней скрывались, все типы, в которых непосредственно воплощались эти начала. В строгой последовательности она провела Россию сперва через общинный быт, потом через родовой и семейственный; она постепенно выводила на сцену истории типы племеночальника, начальника рода и вотчинника и осуществляла их в больших размерах. Последним ее усилием, венцом ее существования, были первые зачатки государства и начало личности. В них она превзошла себя, как бы вышла из своих пределов, хотя и государство и личность долго созрели и готовились к действию под формами, ею созданными и развитыми. Она сделала все, что могла, и, окончивши свое призвание, прекратилась. Ее порицать, пренебрегать ею или сожалеть об ней, думать о ее возвращении, доискиваться в ней, чего она не дала и не могла дать, — равно ошибочно. И то и другое обнаруживает взгляд неисторический, следовательно, непременно ложный. Лучший критик, судья истории — сама история. Она высчитывает наперед все возможности, взвешивает все доводы и за и против с неподражаемою подробностью, а потом решит — без апелляции. Нам остает-

ся только взглядеться в этот суд, в эту критику, понять ее. Иначе непременно впадем в односторонность.

Начало личности узаконилось в нашей жизни. Теперь пришла его очередь действовать и развиваться. Но как? Лицо было приготовлено древней русской историей, но только как *форма*, лишенная содержания. Последнего не могла дать древняя русская жизнь, которой все назначение, конечная задача только в том и состояли, чтобы выработать начало личности, высвободить ее из-под ига природы и кровного быта. Сделавшись независимой не через себя, а как бы извне, вследствие исторической неизбежности, личность еще не сознавала значения, которое она получила, и потому оставалась бездеятельною, в ладу с окружающею и ей несоответствовавшею средою. Но это не могло долго продолжаться. Неоживленная личность должна была пробудиться к действию, почувствовать свои силы и себя поставить безусловным мериллом всего.

Впрочем, вдруг она не могла сделаться самостоятельною, начать действовать во имя самой себя. Она была совершенно неразвита, не имела никакого содержания. Итак, оно должно было быть принято извне; лицо должно было начать мыслить и действовать под чужим влиянием.

Такое влияние было для него необходимо и благотельно. Оно освободило его от всего непосредственного, данного, развязало ему руки, возбудило к нравственному развитию и приготовляло к совершенной, безусловной самостоятельности.

Вот характер и значение эпохи внутренних преобразований, которая наступила в России в XVIII веке и окончилась недавно. В сфере политической и государственной личность ранее стала независимую; поэтому она впервые в ней начала действовать неограниченно и под европейским влиянием. В Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления начала личности в русской истории.

Как всякое историческое явление, эпоха преобразований имеет множество различных сторон и потому может быть рассматриваема с различных точек зрения.

Многие¹¹ обвиняют ее в том, что она пришла слишком внезапно, действовала круто, насильственно, разорвала русскую историю на две половины, совершенно между собою несхожие, ничем не связанные, и нас сделала бесхарактерными, жалкими междоумками или недоумками; наконец, что она лишила Россию национальности, подчинила ее исключительному господству европейских элементов и апостазию¹² от национального возвела на степень добродетели.

Эти обвинения, окончательно сформулированные в последнее время, вызваны состоянием, в которое мы пришли, когда эпоха реформ оканчивалась. К нему они и относятся, а не к ней. Как историческое явление они важны, характеризуя состояние одной части общества после реформы; как взгляд на целый отдел истории они не имеют никакой цены, по своему совершенно субъективному смыслу.

Во-первых, эпоха реформ наступила у нас не внезапно; она приготовлена всем предыдущим бытом. Кто не согласен с нашим взглядом на русскую историю, тому мы укажем на появление иностранных обычаев еще до Петра; на умножение иностранцев в Московской России; на всякого рода отступничество от прежних нравов; наконец, на упадок государственного устройства и управления перед реформой. Разложение быта выражалось в страшных, неслыханных злоупотреблениях. В доказательство ссылаемся не на общественное мнение и литературу, которых тогда в России не было, а на современные акты и законы.

Что реформа действовала круто, насильственно — это правда. Но чтоб вывести из этого какое-нибудь заключение в пользу или против нее, должно сперва решить: что была современная ей Россия и можно ли было действовать иначе?

В начале XVIII века мы только что начинали жить умственно и нравственно. Мы были несчастные дети, окруженные самыми невыгодными условиями. К бедной внешней природе присоединились глубокое невежество, полувосточные привычки, которые держали нас в черном теле, в самых зачатках убивали всякое нравственное развитие, всякую общественность, всякую свободу и движение. Тогда — страшная недавняя старина! — делались вещи, непостижимые, невообразимые теперь. Чудовищны были время и общественность, которые могли пересоздать благородную натуру Иоанна IV и наперекор ей вос-

питать ее в нравственного уroda, изверга, не знавшего границ произволу. Только такая грубая, дикая, жалкая среда, в которой не было и тени общественного мнения, никаких общих, ни нравственных, ни даже физических интересов, сделала возможным преобразование в том виде, в каком оно совершилось, со всеми его крутыми мерами и насилиями. Оправдание эпохи реформ — в ее целях: средства дала, навязала ей сама старая Русь. Петр действовал, как воспитатель, врач, хирург, которых не обвиняют за крутые и насильственные меры. Нельзя было иначе действовать; невозможное теперь было тогда, по несчастии, необходимо, неизбежно.

Сверх того не забудем, что реформа особенно сосредоточилась в государственной сфере, в управлении; прочих сторон жизни она коснулась как будто мимоходом, и то большею частью там, где они соприкасались с государством. А мы знаем, каково было положение государства перед реформой и при Петре; со всех сторон враги, а войска, денег, средств им противостоять не было. В управлении — беспорядок и отсутствие централизации. Тут некогда было выжидать, действовать исподволь. Нужды были слишком настоятельны, чтоб можно было вести реформу медленно, спокойно, рассчитывая на много лет вперед.

Потом говорят, что эпоха преобразований отделила старую Русь от новой непроходимую бездной, ничем не наполненной, из нас сделала ни то, ни се, что-то среднее между древней Россией и Европой — амфибий человеческого рода. Но это не так. Внутренняя связь между древней и новой Россией, как мы видели, есть. Есть и внешняя, в событиях. Петр Великий ничего не знал о различии древней и новой России. Он был глубоко убежден, что продолжает дело своих предков; такое же убеждение имели и его сподвижники. Татищев беспрестанно сравнивает указы Петра с «Уложением» и законами Иоанна¹, и не так, как мы теперь сравниваем «Русскую Правду» с варварскими законами германцев, а как постановления, дополнявшие друг друга в практике, относившиеся к одной и той же жизни, разрешавшие одни и те же вопросы. В самом деле, действия и законы Петра Великого — лучшее доказательство, как в его время обе России, потом различные, были слиты в одно нераздельное целое. Мы скажем больше: ни один живой вопрос, возникший в древней Руси, не оставлен Петром Великим без разре-

шения. Как он их решил — об этом мы не будем теперь рассуждать: решил он все. Мнение, будто Петр не знал России, не имеет никакого основания. Он знал ее отлично, в мелочах, в подробностях: но он пренебрегал голословной казуистикой древней России, которая гонялась за частностями и не развила ни одного юридического начала.

Непроходимая бездна между старым и новым создана после воображением, совершенно отвлеченным пониманием истории. Новый мир еще менее походит на древний, чем новая Русь на старую. Там действуют и новые народы; однако мы знаем, что и древний мир преобразовался мало-помалу. Наполеон создал новый порядок вещей во Франции, несколько не похожий на тот, который им сменился; однако мы не говорим, что Франция до Наполеона и после Наполеона — две совсем разные, ничем не связанные между собою Франции. Вглядываясь в события, мы видим, что прежнее естественным порядком выродилось в новое, как они ни различны между собою. Так и у нас было.

Междоумками мы точно стали, но не во время реформы и не вследствие реформы. Вспомните людей времен Елизаветы, Екатерины: их, право, нельзя упрекнуть в бесхарактерности, в неопределенности. Все они носят на себе такой резкий тип, что их почти с первого взгляда можно узнать. Если б эпоха реформ сбила их с толку, они не могли б быть такими. Да и смотрели на преобразования предки наши XVIII века совсем другими глазами, нежели мы теперь. Они понимали реформу совершенно практически, брали с бытовой, живой стороны. Им и в голову не приходила мысль, что она может лишить нас народности, оторвать от прошедшего. Себя они считали русскими, такими же, какими были их предки XVII века, и в самом деле, они были русские, для которых настало время здравого смысла, не стесненного историческими преданиями. Недоумками мы сделались уже после, когда эпоха преобразований начала приходить к концу, стало слагаться общество и родилось бессознательное требование самостоятельности мысли и действий. Тогда к прошедшему, настоящему и будущему мы приступили с вопросами. То, что прежде само собой разумелось, теперь представилось задачей, требующей еще разрешения. Все стало предметом критики, суждений, и пока результаты этой критики не обнаружались, не выработался какой-нибудь взгляд,

сомнение и нерешительность поразили ум и деятельность. Но это было явление новое в России, не следствие реформы, а необходимая прелюдия к другому порядку вещей, который тогда зарождался.

Самое важное, капитальное обвинение эпохи преобразований состоит в том, что она будто бы лишила нас народности и безусловно подчинила европейскому влиянию. Тут явное недоразумение, частью от слова «народность», частью от отвлеченного взгляда на русскую историю.

Национальность, народность в разные эпохи развития имеют у одного и того же народа разные значения. Сначала, когда народ пребывает в непосредственном, природном состоянии, народность в его глазах неразрывно связана с внешними формами его существования; иначе и быть не может, ибо другого существования он не знает и представить себе не в силах. Для него перемена форм есть и утрата народности; он не узнает себя под другою внешностью. Иван Берсень¹⁸ говорил еще в XVI веке, что народу, у которого изменяются обычаи, недолго стоять, и, по понятиям тогдашней Руси, он был прав. Но когда народ начинает жить более духовною жизнью, и слово «народность» одухотворяется в его устах. Он перестает разуметь под ним одни внешние формы, но выражает им особенность народной физиономии; это нечто неуловимое, непередаваемое, на что нельзя указать пальцем, чего нельзя оцупать руками, чисто духовное, чем один народ отличается от другого, несмотря на видимое сходство и безразличие. Словом, национальность становится выражением особенности нравственного, а не внешнего, физического существования народа. С бóльшим сближением различных народов она более и более одухотворяется, отрешается от внешнего, случайного, в сущности, безразличного: исчезнуть она не может, пока не исчезнет сам народ.

В первом смысле наша народность сильно тронулась; в высших классах общества она почти совсем исчезла. Но заметим: не с реформы XVIII века, а раньше, гораздо раньше, еще с начала Московского государства. Оно внесло в нашу народную жизнь первые зачатки нравственного существования, развившиеся потом; оно впервые посягнуло и на нашу народность, в тесном, непосредственном значении слова. Москва — первоначальница нашего нена-

ционального развития. Многим это покажется теперь странным, но оно действительно так было.

Во втором смысле мы никогда не теряли своей народности; нельзя указать ни на одну минуту в нашей исторической жизни, начиная с какого угодно времени, в которую бы мы перестали быть русскими и славянами, потому что это совершенно, математически невозможно: *мы* всегда будем *мы* и никогда *они*, кто-нибудь другой; иначе мы тотчас же исчезнем с лица земли, перестанем существовать как особенный народ.

Мысль, что через реформу мы потеряли или почти потеряли народность, есть не следствие изучения древней и новой истории России, а один из тех бессвязных воледей, которые вырвались из нашей груди, когда, вместе с реформой, одна фаза нашего развития кончилась, а другая не наступала. Тогда мы почувствовали какую-то усталость, нравственное расслабление, из которых, казалось, не было выхода. Допрашивая себя, откуда бы могла взяться эта преждевременная дряхлость, и думая, что за ней смерть, многие обратились к ближайшему прошедшему, придали ему страшный характер, осветили его траурным светом, обставили погребальными факелами. Им представлялась, бесспорно, одна из величайших эпох нашей истории, время ее возрождения, картиной упадка и разрушения. Но эти краски ей чужды. Олицетворение древней и новой России родило такое отвлеченное воззрение. Многие подумали, что за европейским влиянием в России XVIII и начала XIX века ничего не было, что Европа, со всеми особенностями, перешла к нам и водворилась у нас на место прежнего. Если б так было, Россия была бы теперь так же похожа на остальные европейские государства, как Англия на Францию, Франция на Германию. А этого сходства совсем нет. Отчего же? Оттого, что не Европа к нам перешла, а мы оевропеились, оставаясь русскими по-прежнему; ибо когда человек или народ что-нибудь берет, заимствует у другого, он не перестает быть тем, чем был прежде. Посмотрите на факты: Петр и его приемники не имели никакого понятия о позднейшем противоположении России и Европы. Они и не думали ввести у нас *иностранное* вместо *русского*. Они видели недостатки в современной им России, хотели их исправить, улучшить ее быт и с этою целью часто прибегали к европейским формам, почти никогда не вводя их у нас без существенных изменений; что из нашего исключительно националь-

ного казалось им хорошо, удовлетворительно, то они оставляли. Так действовали и частные лица: все, что им казалось хорошим, было хорошо, откуда бы ни пришло. Упрек Петру, что он будто бы предпочитал иностранцев русским, не имеет ни малейшего основания; где мог, он всегда замещал первых последними. Известно, что иностранцы не всегда были им довольны. Наконец, в гражданских и военных штатах, составленных при Петре, на одного иностранца везде положено по два русских. Если б он предпочитал первых, он бы так не поступал. Просто они были ему нужны, ибо знали то, чего не знали тогда русские и что было необходимо для России.

Вообще никогда не должно забывать, что эпоха преобразований, как все живущее, имела внутреннее единство, целостность. Практические пользы, улучшения поглощали всю деятельность; об именах и названиях мало думали. Русское и иностранное — все сливалось в одно, чтоб вести Россию вперед. Но когда эта эпоха стала клониться к концу, а новые пути для такого же целостного, живого действия еще не были найдены, мы почувствовали в себе пустоту, скуку; деятельность сменило бездействие, необходимое, потому что прежние источники действия иссякли. Живой дух эпохи исчез. От нее оставался труп, который стал разлагаться на свои составные стихии, уже ничем не соединенные. Тогда-то появилось у нас противоположение русского европейскому, желание думать, действовать и чувствовать национально, народно или, во что бы то ни стало, по-европейски. Требование самостоятельности и требование лучшего, которые нашли представителей в этих двух крайностях, прежде слитые воедино, теперь распались и стали враждебны. Серединой между ними было уже бессмыслие и апатия. Таким образом настоящий смысл эпохи реформ был потерян и забыт. Ее начали безусловно порицать или безусловно хвалить, но с важными недоразумениями и натяжками с обеих сторон, потому что ее подводили под известные, односторонние точки зрения, которым она никак не поддавалась. В наше время этот дуализм, признак едва зарождавшейся в нас умственной и нравственной жизни, начинает исчезать и становится прошедшим. Его сменяет мысль о человеке и его требованиях. Что эпоха преобразований сделала в практической жизни, то теперь происходит у нас в области мысли и науки. Непереступаемые границы между прошедшим и настоящим, русским и иностран-

ным разрушаются; открывается широкое воззрение, не стесняемое никакими предрассудками, прирожденными или выдуманнными ненавистями. Может быть, мы оттого и начинаем питать такие глубокие симпатии к Петру Великому. На другом поприще он вел нас по той же дороге.

Итак, внутренняя история России — не безобразная груда бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, — стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформы. Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде, — русскими славянами. У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться. Оттого-то мы так тесно и сблизились с Европой; ибо совершенно другим путем она к этому времени вышла к одной цели с нами. Развивши начало личности донельзя, во всех его исторических, тесных, исключительных определениях, она стремилась дать в гражданском обществе простор *человеку* и пересоздавала это общество. В ней наступал тоже новый порядок вещей, противоположный прежнему, историческому, в тесном смысле национальному. А у нас, вместе с началом личности, человек прямо выступил на сцену исторического действия, потому что личность в древней России не существовала и, следовательно, не имела никаких исторических определений. Того и другого не должно забывать, говоря о заимствовании и реформах России в XVIII веке: мы заимствовали у Европы не ее исключительно национальные элементы; тогда они уже исчезли или исчезали. И у ней и у нас речь шла тогда о *человеке*; сознательно или бессознательно — это все равно. Бóльшая развитость, высшая степень образования, бóльшая сознательность была причиной, что мы стали учиться у ней, а не она у нас. Но это не изменяет ничего в сущности. Европа боролась и борется с резко, угловато развившимися историческими определениями человека; мы боролись и боремся с отсутствием в гражданском быту всякой мысли о человеке. Там человек давно живет и много жил, хотя и под односторонними историческими формами; у нас он вовсе не жил и только что начал жить с XVIII века. Итак, вся разница только в предыдущих исторических данных, но цель, задача, стремления, дальнейший путь один. Бояться, что Европа передаст нам свои от-

жившие формы, в которые она сама уж не верит, или надеяться, что мы передадим ей свои — древнерусские, в которые мы тоже изверились, значит не понимать ни новой европейской, ни новой русской истории. Обновленные и вечно юные, они сами творят свои формы, не стесняясь предыдущим, думая только о настоящем и будущем.

Такой взгляд объясняет много загадочных явлений в нашей внутренней жизни. Понятым делается, почему не было и нет у нас сословий, как в Европе; почему наш гражданский быт и устройство, сходные с европейскими в частностях, совершенно не сходны в общем; отчего мы европейские формы предпочли всем прочим, не заимствуя однако тех, которые исключительно принадлежат к ее прошедшему и от него удержались; отчего в нас так много удивительно хорошего и, рядом с тем, так много удивительно дурного, отчего такая странная распушенность, бессвязность, случайность царствуют во всем, что ни делаем, что ни предпринимаем; отчего... но всего не пересчитаешь. Читатель, занимаясь русской историей или думая о своей жизни, сам увидит, что в нашем взгляде есть большая доля правды.

Москва.

23 февраля 1846 года.